Gruzdev, I. A.

Илья Груздев

ГОРЬКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ

1868–1896

Издание третье,
дополненное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1962

891.73
G663C7
ed. 3

Оформление художника
Н. КРЫЛОВА

Часть ПЕРВАЯ

1

Неделя разгульной масленицы кончалась «прощеным воскресеньем», кануном великого поста. Обычай требовал просить в этот день друг у друга прощения за все вины и обиды.

Но трудно представить себе, чтобы «глава семьи» просил прощения у своих детей или у служащих. Зажиточное мещанство и купечество толковали обычай так, что это у них, у своих «хозяев», члены семьи и служащие просят в этот день прощения, торжественно появляясь и земно кланяясь. Все это отлично укрепляло престиж хозяина и покорность чад и домочадцев.

В семье нижегородского цехового Каширина, владельца известной всему городу красильни, «прощеное воскресенье» 11 февраля 1868 года ознаменовалось особым событием. Дочь красильщика и ее муж, столяр мастерских пароходчика Колчина, после длительной ссоры с Кашириным явились к нему для примирения. Вина их была в том, что обвенчались они против воли отца, «самокруткой». И однако «прощения» в собственном смысле слова тут не было, потому что молодая чета с самого начала и до конца проявила большую самостоятельность. Да и вообще в Поволжье увод невесты не был делом сверхобычным и, например, в соседнем с Нижегородским, Семеновском уезде, в сельском быту, это было даже общим явлением. Работница в доме — вот семейно-хозяйственная проблема, заставлявшая и отца

применять родительское проклятие, и молодежь — пренебрегать святостью родительского благословения [1].

В семье Каширина, в быту мелкой ремесленной буржуазии, так узко экономически вопрос не стоял. Дело было в престиже патриархальной семейной власти, хотя такая патриархальность, связанная с известным достатком, была не родовой и имела давность только одного поколения. Сам Василий Васильевич Каширин в ранней молодости начал свою карьеру совсем неимущим человеком, бурлаком, в караване балахнинского купца. Но через несколько лет он был уже «водоливом» — старшиной над бурлаками и расходчиком артели. Сделав сбережения, он обосновался в Нижнем и с успехом занялся окраской пряжи и тканей.

Пришли деньги, пришел и почет,— Каширин избран был цеховым старшиной красильного цеха. Два или три раза он переизбирался в этой должности и даже метил в ремесленные головы. Большой двухэтажный дом его на Ковалихинской улице, с обширным флигелем и садом, был не последнего десятка в городе, и один дом этот мог уже свидетельствовать о несомненной удаче. Дочь свою он прочил за дворянина. Эта мечта тешила его тщеславие и сулила, казалось ему, еще какое-то возможное продвижение по социальной лестнице. Поэтому и был он вне себя, когда дочь его «самокруткой» обвенчалась с Пешковым, парнем пришлым, без рода, имени и состояния (1) [2].

Пешковы поселились отдельно от Кашириных, на Суетинском съезде, и лишь на следующий год состоялось — в названный выше день — примирение. После этого они переехали в дом красильщика на Ковалихе, во флигель в саду. В этом флигеле и родился будущий писатель, по старому стилю 16 марта 1868 года (2).

По семейным преданиям, Максим Савватиевич Пешков был отличным мастером, а также умным, добрым и веселым человеком. Несомненно, что он был и хорошо

[1] О значении «самокруток» в семейной борьбе за работницу см. в краеведческих материалах того времени, в «Нижегородском сборнике» А. С. Гацисского, том III, 1870. Там же рассказывается о случаях мирного и немирного исхода «самокруток», а также о значении в этом деле «прощеного» дня

[2] Цифры в скобках указывают на биографические исследования и материалы, помещенные в конце книги.

грамотным: через четыре года после женитьбы он получил должность управляющего пароходной пристанью в Астрахани; в этот город он и отправился с семьей весною 1871 года. Дополнительно он имел еще поручение от пароходчиков — построить триумфальную арку по случаю приезда в Астрахань Александра II (3).

На этой арке, построенной у пристани, было изображено все, чем славился край: груды соли, добываемой из астраханских озер, лежали в ее основании, виноградные лозы с зелеными гроздями обвивали колонны и арку, модели рыболовных судов высились наверху, а в золотых сетях мелькали серебряные рыбы,— строитель арки, несомненно, обладал фантазией художника.

Кроме того, на ней были изображены две даты: 1722 и 1871, даты посещений Астрахани Петром I и Александром II. Это последнее обстоятельство дало повод местной коммерческой газетке пышно и льстиво уравнять двух «преобразователей России», подчеркнув значение буржуазных реформ Александра II, вознеся притом и местное событие 4 сентября 1871 года, «живым свидетелем которого осталась навсегда триумфальная арка», как, с преувеличенной убежденностью, писал фельетонист [1].

Жизнь Пешковых в Астрахани кончилась катастрофой. Через год, в холерную эпидемию 1872 года, мальчик заболел холерой, выздоровел, но заразил ею отца, который ухаживал за ним во время болезни. Максим Савватиевич умер, оставив жену и четырехлетнего сына, вернувшихся после его смерти на родину, в Нижний, в дом Каширина. Смертью отца, родами, которыми разрешилась мать в это же время, смертью новорожденного брата, осенней поездкой на пароходе, во время которой перед мальчиком мир открылся с не виданной до того красотою,— этими событиями и начинается, как помнит читатель, автобиографическая повесть М. Горького «Детство».

По сводкам «Астраханских губернских ведомостей» холерная эпидемия в Астрахани в 1872 году продолжалась с 11 августа по 6 октября. В октябре Пешковы были уже в Нижнем, что видно из прошения «вдовы

[1] «Астраханский справочный листок», 1871, № 125, «Прощание с летним сезоном».

Варвары Васильевны Пешковой в Нижегородскую ремесленную управу» о желании ее «с сыном своим 4-х лет Алексей Максимовичем Пешковым приписаться в Нижегородское цеховое общество»,— для «народного счета». Прошение было подано 27 октября 1872 года.

В Нижнем к этому времени произошли существенные перемены. Большой двухэтажный дом на Ковалихе, с флигелем и садом, оцененный городом в «Раскладочной ведомости по налогам» в две тысячи рублей [1], был продан, основная красильня на этой улице ликвидирована. Старики Каширины, вместе с семьями двух сыновей, Михаила и Якова, жили на Успенском съезде, в приземистом одноэтажном доме, который значился по городской оценке в пять раз дешевле первого дома. Да и самый дом числился уже во владении сына, Якова Каширина. Там же помещалась общая (отца и сыновей) красильня.

Менялись и настроения обитателей дома Кашириных. Дом этот «был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми». Здесь «часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах». Старый рабочий красильни в беседах с маленьким Пешковым отчасти вскрывал смысл происходящего: «Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнется, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает».

«Дело господа» исполнял здесь механический станок хлопчатобумажной промышленности. Еще в 1846 году была основана первая в этом крае, в средней полосе России, «прядильно-механическая ткацкая мануфактура» — фабрика купца Попова в городе Шуе со 108 механическими ткацкими станками и английскими прядильными машинами [2]. Механический станок вскоре повел широкое наступление на ручное ткачество, подготовляя небывалое до того времени распространение ситцевых фабрикатов. В 50—60-х годах деревня все более перекрашивается из излюбленного темно-синего, «кубового», цвета домашней крашенины в красные и пестрые

[1] «Нижегородские губернские ведомости», 1868, стр. 158.
[2] «Владимирские губернские ведомости», 1846, № 15, 1847, № 42, и др.

цвета фабричного ситца. В тесной связи с домашним ткачеством стоял и красильный промысел. И я думаю, что старообрядка в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» агитировала против красных ситцев не без влияния на то ожесточенной экономической борьбы домашних ткачей и красильщиков с механической фабрикой:

— С тех пор, как бабы начали
Рядиться в ситцы красные,—
Леса не подымаются,
А хлеба хоть не сей!
— Да чем же ситцы красные
Тут провинились, матушка?
Ума не приложу!
— А ситцы те французские —
Собачьей кровью крашены!
Ну... поняла теперь?..

Если сельские кустарные красильни, работавшие не круглый год, еще удерживались долгое время, то в городе дело шло значительно быстрее. Вот что говорят данные Нижегородского статистического комитета о числе красильщиков в Нижнем. Для сопоставления рассмотрим положение нескольких профессий:

	1847 г.	*1855 г.*	*1861 г.*	*1865 г.*
Серебряников	76	90	58	45
Столяров	139	127	127	138
Печников	24	19	52	47
Красильщиков	136	66	13	5 [1]

При непрогрессирующей технике ремесла падение числа красильщиков означало падение числа заказов, и при всей возможной неточности нижегородской статистики процесс этот несомненен. Он тяжело давил на семью Кашириных, вызывая острую тревогу между ее рабочими членами и отчаянные попытки каждого из них удержать для себя остатки когда-то выгодного предприятия, порождая жестокие свары и волчьи драки.

Эта яростная борьба кончилась семейным разделом. Сыновья Михаил и Яков отделились от отца, сохранив себе мастерские, а старик Каширин купил новый дом,

[1] «Памятные книжки Нижегородской губернии» на 1847, на 1855 и на 1865 годы; «Нижегородские губернские ведомости», 1862, № 49. О судьбе кустарных красилен см. в «Нижегородском сборнике» А. Гацисского, том VII, стр. 68.

ближе к окраине города, на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже.

Но дикие семейные ссоры не прекратились и после раздела,— сыновья, не сводя концов и все более разоряясь, продолжали вести атаку на сбережения отца. В одно из таких наступлений Михаил Каширин палкой переломил руку своей матери, бабушке Горького,— она пыталась умиротворить бушующие силы.

«Был он, дядя Михаил, человек тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек,— писал мне Алексей Максимович.— Ходил быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи,— так пьяные идут в драку... Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать,— ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку. Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одежде, затем женатый на дворянке,— принужден был жить с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему».

В этом письме Алексей Максимович ясно говорит об острой форме конкуренции в угасавшем промысле домашних красильщиков.

Вероятно, вследствие неотступных и бурных притязаний со стороны сыновей, Каширин вынужден был очень скоро продать дом на Полевой улице кабатчику. По-видимому, он владел им меньше года,— в ежегодных «Раскладочных ведомостях» в 1873 и 1874 годах такой дом не значится за Кашириным. Продав его, он купил другой, по Канатной улице, выходившей в поле, на самом краю города. Дом на Канатной, оцененный «Раскладочной ведомостью» всего уже только в 300 рублей, был последним свидетелем относительного благополучия бывшего ремесленного старшины (4).

Жизнь в семье Кашириных на Успенском съезде вспоминалась впоследствии Горькому как «суровая

сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением». В домостроевском быту и в свирепой борьбе собственников перепадало нередко и ему, сыну нелюбимого в доме Кашириных Максима Пешкова, но он не покорялся этому быту и, как мог, сопротивлялся ему уже в детстве.

Было, впрочем, и доброе явление в этом тяжелом быту, которое противоборствовало всем его темным сторонам. Этим явлением для Горького была его бабушка, Акулина Ивановна Каширина, эпический, незабываемый образ которой он дал в своих автобиографических повестях. А. И. Каширина в молодости была балахнинской кружевницей; кружевницы эти славились в равной мере и своим ремеслом, и своими песнями. Память ее удерживала огромное количество стихов.

Она принадлежала к числу тех хранителей и мастеров народного творчества, которые назывались у нас «сказителями», и только по случайным причинам осталась вне внимания литературных деятелей, собирателей фольклора.

Впрочем, она была известна не только в своем кругу.

В одном из писем ко мне Алексей Максимович сообщил:

«Бабушка моя отлично знала песни, их «отбирал» у нее нижегородский помещик и театрал Турчанинов.

— Хорошие-то, сердешные, не нравились ему, дурачку,— говорила она».

«Хорошие, сердешные» — это песни о крестьянских горестях и обидах, с жалобами на барщину, на тяжесть оброков, вообще — на помещика.

Мальчик любил слушать ее, когда она сказывала о том, как «богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу князь-барыню Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея, божьего человека, про Ивана Воина; сказки о Премудрой Василисе, о Попе Козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о бабе Усте, атамане разбойников, о Марии — грешнице египетской, о печалях матери разбойников»...

Среди этих песен, стихов и сказок были, несомненно, и такие «отреченные» произведения народного творчества, которые по своим социальным мотивам не входили в собрание опубликованных былин и сказаний.

«Сказительный» стих я хорошо знал с малых лет, от бабушки, час и более мог говорить этим стихом «бунтарские» речи»... [1]

А. И. Каширина была не только хранителем народного творчества, есть основания думать, что она сама была выдающимся народным поэтом. В том же письме ко мне Алексей Максимович сообщает, что приведенное в «Детстве» «Сказание про Мирона-отшельника» — «от бабушки», и что ни текста такого, ни вариантов он «нигде не встречал, хотя фольклором занимался усердно».

Влияние бабушки на Горького было огромное. Он вспоминал: «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов». Она сроднила его с истоками народного творчества, его поэтическими образами и глубокими мыслями. А по высокому строю своей души она осталась для Горького, по его словам, «другом, самым близким сердцу», «самым понятным и дорогим человеком»; ее бескорыстная любовь к миру обогатила внука, «насытив крепкой силой для трудной жизни».

Мать не имела большого влияния на жизнь сына. Она подолгу уходила из семьи Кашириных, оставляя его на попечение деда. Шести лет Горький обучался у него, в доме на Полевой, церковнославянской грамоте по псалтырю и часослову,— так учили еще во времена Удельной и Московской Руси. Дед был доволен успехами, находя, что память у внука «лошадиная»,— колоритные сцены этого обучения даны в «Детстве».

Однако и мать приложила свою руку к его обучению. В одно из своих возвращений к Кашириным, в дом на Канатной, Варвара Васильевна энергично принялась учить сына на свой лад. «Купила книжки,— вспоминал Горький,— и по одной из них — «Родному слову» [2] — я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения... Она стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова... ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное». Так проявилось в этой борьбе с книжными стихами первое словесное творчество Горького в очень неудобной для автора обстановке, сопровождаемое недовольством, возмущением и наказаниями.

[1] «Октябрь», 1940, № 6—7, стр. 283. Письма к С. Сергееву-Ценскому.

[2] «Родное слово» — книга для начального обучения в земских школах, составленная знаменитым русским педагогом К. Д. Ушинским.

В то же время словесность не книжную, народную, ту, что он слышал от бабушки,— сказки, были и песни,— Горький, как уже было сказано, запоминал легко и в огромных объемах. Когда в 1878 году нижегородский епископ Хрисанф приехал на урок в Слободско-Кунавинское начальное училище, он с удивлением отметил ученика Пешкова Алексея, который мог ему на память говорить стихами народные сказания и жития.

Слободско-кунавинское начальное училище, в котором обучался Горький в течение зимы 1877—1878 года, было типичной в то время «приходской» школой для городской бедноты,— последним, низшим звеном в сословной образовательной системе буржуазно-дворянской России (5).

Однако и эта, первая для Горького, ступень обламывалась,— в жизнь его все более мощно вторгалась улица. Когда-то богатый красильщик к этому времени разорился совершенно и был «деклассирован» вконец. Уже давно исчезло имя бывшего ремесленного старшины со страниц «Раскладочных ведомостей», уже не было у него не только своего дома, не было своего просторного угла. Старики Каширины жили теперь в беднейшей части города, за рекой, в Кунавинской слободе, снимая тесную каморку с двумя окнами на двор и находясь на пороге нищенства.

Горький совмещал со школой занятия ветошничеством, а десяти лет, не кончив в ней обучения «по бедности», расставшись со школой навсегда, он стал «свободен» для того, чтобы начать жить самостоятельно, и жизнь, как улица, была ему и просторна и тесна. Так случилось, что, проведя первые годы в зажиточной, еще вполне буржуазной среде, он уже с детства пошел в длинный путь бездомной жизни, жестокой эксплуатации, тяжелого физического труда и скитаний.

Это было первое социальное противоречие, с которым столкнулся Горький еще в детстве. Под ударами промышленного капитала мелкая ремесленная буржуазия разорялась, исчезая прежде, чем успела сколько-нибудь социально окрепнуть. Разорение наименее устойчивых групп мелкой буржуазии, в свою очередь, подготовляло капитализму новые рабочие кадры. Но в развитии русского капитализма во второй половине 70-х годов было заложено *свое* противоречие, и длительная промышленная депрессия перешла к началу 80-х годов в настоящий кризис. Об экономических затруднениях того времени писал обозреватель журнала «Русская мысль»:

«Число ремесленников ограничивается до такой степени, что скоро надо будет отсылать самые простые вещи для починки в столицы или губернские города; фабричная и заводская промышленность не только не увеличивается, но по многим отраслям идет вниз; едва зародившиеся банки шатаются; число банкротств за последние годы неизмеримо выше и чаще, нежели когда-нибудь» [1].

Нам еще придется пристальнее всмотреться в эту картину кризиса, который вызвал потрясение во всей стране и разнообразные следствия, в первую очередь — огромный рост безработицы.

Этот рост безработицы давал капиталистам широкую возможность нового наступления на жизненный уровень рабочих масс. Петербургский пролетариат ответил стачками 1878—1879 годов и первыми попытками основать классовую рабочую организацию, вся городская беднота ответила — усилением босячества.

Самое наименование босячества «золотой ротой» принадлежит 70-м годам [2]. Приток в босяки солдат из демобилизованных после войны 1877—1878 годов, потерявших свое прежнее место в жизни, усилил милитарный жаргон. Появились выражения — «босая команда», «золотая рота босого батальона» и т. п. О новизне термина свидетельствует и начало одной из статей того времени:

[1] «Русская мысль», 1881, № 3, стр. 14—15.

[2] Раньше этот термин имел другие значения, одно из них — уголовные элементы аристократии. Ср., например, роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» (1864—1869) или Топорова «Изнанка налицо», «Приключение в золотой роте», 1868.

«Но что это за золотая рота? — спросит читатель.— Мы слышали о «золотой молодежи», но о «золотой роте» никогда не слыхали» [1].

Босячество именно в это время достигло небывалого еще развития. «Не поддавайся! Пропадешь!» — такие внушения старших в повестях «Детство» и «В людях» были действительно следствием житейского опыта и предостережением от реальной возможности. «Пропал» двоюродный брат Горького, Саша Михайлов, сын Михаила Каширина, быстро сошедший в босяки, «пропадало», конечно, и много других людей этого круга, и путь к босячеству часто лежал уже с детства (6).

Некто Н. Сигалев писал Горькому в 1914 году:

«Прочтя Ваше «Детство» в «Русском слове», мне невольно вспомнилась моя прежняя, детская жизнь в Кунавине и его окрестностях, в то же самое время, которое описали Вы. Но, из своей бывшей среды, почему-то я Вас лично не помню; но полагаю, что мы были в знакомстве, так как Ваши слободские похождения точно обрисовывают то же самое, что было и передо мною. Не Вы ли в то время рассказывали стихи «Про богача и Лазаря», которые я слышал несколько раз из уст одного разумного уличного мальчика; но имя и фамилию его не помню или вовсе не знал, так как у нас в то время зачастую настоящих имен не существовало, а говорилось просто: «Мишка-мордвин», «Андрюшка-толстый» и т. п. прозвища...»

Получив от Горького подтверждение своих догадок, Сигалев писал ему:

«В Вашем повествовании «Детство» упоминается товарищ Гришка-чурка. Ведь это я подразумеваю Гришутку Повельщука, который жил на Песочной или Новинской улице близ рогожного завода Он дружил с Вами, а звали ли его тогда «Чуркой» — я что-то забыл... Я вел дружбу по вечерам с Ванькой и Бобкой Юрковскими... Ваньку и Бобку впоследствии переименовали в Якимовых, так как по смерти родителей они оказались незаконнорожденными... А Сашка — это был неповоротливый не то мальчик, не то парень, грубый и несловоохотливый... Помню, когда его взяли и повели в «часть» за какую-то кражу; вели по Кузнечной улице, и я его

[1] «Дело», 1879, № 2, стр. 174.

больше уже не видел. А Нюшка Евченко [1] и др. звали его иногда «собакин сын», очевидно за то, что не добились ничего о его родословии. Нюшку Евченко я видел... в числе «золотой роты».

Сигалеву, сыну сторожа на железнодорожном переезде, удалось выбиться в телеграфисты, а затем дослужиться до начальника станции где-то на Закаспийской ж. д. В глазах кунавинцев такая перспектива, конечно, могла казаться лишь совершенно исключительной по своей удаче. Жизнь полуголодных мещан «слободы», сброшенных с буржуазного счета «города», подкармливавших себя кражами с барок и плотов и обслуживанием ежегодно вскипающего грязного очага ярмарочного разгула,— эта жизнь вызывала со стороны более удачливых, зажиточных мещан «города» и высокомерие и тревогу.

«Если бы мне дали там лучший дом даром с условием жить постоянно в нем, то я скорее согласился бы жить в Сибири с каторжниками, чем в кругу разврата и грабителей» [2]. Так говорил о Кунавине «добропорядочный» мещанин, из тех, кто помалу укрепил корни своего благополучия и в эту шаткую пору.

Впрочем, общая картина экономической депрессии, наступившей с середины 70-х годов, несколько нарушилась искусственным подъемом вследствие военных поставок во время войны 1877—1878 годов. В Нижнем такое положение вещей восхищало купеческий «Нижегородский биржевой листок». В передовой статье от 24 декабря 1877 года сообщалось:

«Прошедший год, страшивший всех торговым бездействием, оказался далеко лучше и прибыльнее мирных лет. Одна и та же милость божия наградила нас в прошедший год двойными дарами: отца, царя-освободителя,— победами и славою, а торговый и промышленный люд — неожиданными барышами и заработками». Замечательно это ликующее простодушие в разделе добычи: ему — победы, нам — барыши.

Вообще же среди экономических неурядиц и бед того времени более благополучно чувствовало себя посредническое звено капитализма — торгующее купечество. В Нижнем-Новгороде оно издавна осело плотным массивом.

[1] У Горького в его повести «В людях» — Нюшка Евсеенко.
[2] «Нижегородский биржевой листок», 1878, № 75.

Осенью 1878 года для Горького было найдено в «городе» место «мальчика» у купца Л. М. Порхунова, владельца магазина обуви на Большой Покровской улице, главной улице Нижнего. Помимо службы в магазине, он исполнял и домашнюю работу по обслуживанию хозяев, как то водилось у лавочников. Прослужив зиму, он обварил себе на этой работе руки кипящими щами, и, таким образом, первая его служба «в людях» кончилась больницей (7).

После выздоровления Горький снова должен был пойти на службу. Новое место для него нашлось в семье чертежника и подрядчика В. С. Сергеева, его двоюродного дяди.

Приняли его в качестве «ученика». Ремеслу чертежника его, однако, не учили, и вместо того исполнял он обязанности горничной, судомойки и мальчика на посылках. Он мыл в кухне пол, чистил самовар и медную посуду, по субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы, колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, нянчил детей, ходил с хозяйкой по базару, таская за ней корзину с покупками, служил на побегушках. «Работал я много,— вспоминал Горький,— почти до отупения, будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом» [1].

Родственные отношения Горького к Сергееву не раз вводили в заблуждение и побуждали к сентиментальным домыслам. Несмотря на то что Горький еще в 1921 году, в примечаниях к публикациям журнала «Былое», пояснял: «Поселиться у дяди» я, конечно, не мог, ибо не жил у него, как у родственника, а служил, как у хозяина»,— в журнале «Новый мир», при новой публикации материалов, снова сообщалось: «Единственный, у кого мог приклонить свою голову школьного возраста Алексей Пешков,— это был дядя... у него-то и обосновался будущий М. Горький. Вместо школьного обучения нуждавшийся сам чертежник-дядя принужден был отдать племянника «в услужение» в обувной магазин...» [2]

[1] «Как я учился», 1918, стр. 3.
[2] «Новый мир», 1926, № 3, стр. 117, 118.

Этот «дядя, который сам нуждался не менее безродного племянника»,— лицо в полной мере легендарное. Сергеев был домовладелец, подрядчик по строительным работам, человек вполне и весьма зажиточный.

К слову сказать, и Порхунов был в свойстве с семьей Горького (благодаря чему и «устроили» его на место), но это не мешало обувнику для предупреждения предполагаемых краж грозить «устроить» его, в обход закона, в тюрьму еще до того, как наступят его «совершенные года». Отношения были деловые и совсем не страдали родственною чувствительностью (8).

2

И. А. Жуков, издатель и редактор «Нижегородского биржевого листка», любил поучительное. Почти в каждой своей передовой статье, осведомляя купечество о ценах на муку и мануфактуру, он напоминал и о хороших пословицах, составлявших кодекс мещанской мудрости. *Отсеки ту руку по́ локоть, что в свой рот добра не гребет,* это — основа жизни набухающего добром мещанина. Уличенный в кривосердечии, он обороняется афоризмом: не *душа врет, а мошна,* отлично зная, впрочем, что и душа не выдаст, что *всякая душа слепая про себя смекает* и что все похождения мошны очень хорошо покрываются смиренно-жуликоватой молитвой: *простоты нашей ради, помилуй нас, господи!*

И хотя Жуков писал, что его «Листок» — «есть не более как оберегатель коммерческих интересов» и что «было бы более чем несправедливо требовать от коммерческого органа еще и нравственного воспитания народонаселения, где он существует», но это было уже от «скромности». Несомненно, что он стремился быть и организатором классовой нравственности нижегородского мещанства, экономически, впрочем, будучи в полной от него зависимости.

Фельетонист газеты, Севастьян Микитич, униженно увеселял своих читателей, или, как он их называл, «ярмарочных благодетелей» (во время ярмарки увеличивался тираж), описанием драк и скандалов, увеселял иносказательно, чтобы не поплатиться за прямую огласку.

Писал он таким стилем: «С ума сошел Микитич от старческих недугов или от излишнего употребления бутылочного разговорцу, что хохлы называют горелкою, а русский человек сивухой».

В его театральные обзоры входили не только небескорыстные рекламы трактирщикам — «кто охотник поесть по-русски, досыта, рекомендуем у Грачева»,— но также репортаж о публичных домах и проститутках: «Относительно кунавинских канареек — пока известно только 8 садков, привезенных из Казани, Саратова и нижегородских трущоб, о достоинствах канареек предоставляю делать заключения самим посетителям».

В то же время редакция была по-своему и благопристойна и благочестива. Когда ею было получено письмо с просьбой «не помещать в своих статьях текстов из священного писания, потому что «Биржевой листок» читается на лапотной бирже, в катушках, в публичных заведениях и непотребных домах разными людьми, жидами и татарами и тем оскорбляется святая церковь»,— редакция самокритически, так сказать, приняла письмо этого «мыслителя» к руководству.

Таков был купеческий Нижний к началу 80-х годов, один из крупнейших областных центров Российской империи, с населением в 60 тысяч. Нижегородцы любили вспоминать, что «печатный орган» в Нижнем замышлял основать еще Карамзин со своим кружком, когда он жил там, отсиживаясь от французского нашествия на Москву. После шестидесяти лет такого рода «литературных мечтаний» Нижний получил наконец свой постоянный печатный орган — газету почтенного И. А. Жукова.

Это имело свой резон: дворянское «оскудение» привело уже к потере значительной доли влияния в городе, и при наличии дворянской администрации экономическая власть сосредоточивалась уже в руках нового хозяина — купца, хозяина, еще не успевшего отряхнуться от первобытной дикости.

В такой же, может быть, более откровенной первобытности жило и мелкое мещанство, зависимое от купечества, примыкавшее к нему, как к потолку своего социального мира. Жизнь этого слоя, его быт находили свое отражение не в передовых статьях и не в фельетонах газеты Жукова, а более прямым образом — в хронике города, в «дневнике происшествий».

Эта летопись обильна была тяжкими сообщениями о всяких избиениях, о диком озорстве, о всей этой жестокой и темной жизни, о том, например, что цеховой Барыкин держал пари со своим товарищем, кто поднимет с земли зубами весовые гири в четыре пуда, и, поднимая эту тяжесть зубами за веревку, выломал зубы и откусил язык; о том, что мещанин Козлов, овдовев дня три тому назад, начал пьянствовать и выгнал малолетних детей, которые остаются без всякого приюта и призрения, а старшую свою 16-летнюю дочь принуждает к любовной связи с угрозою лишить жизни за неисполнение его воли; о том, что крестьянин Волков женою своей и любовником ее Алексеем Доминым был избит и выброшен из окна второго этажа на двор,— и множеством других известий такого же порядка.

Еще ниже по социальной лестнице бытовал бездомный люд, толпы полурабочих, полунищих, босяков, заполнивших своею жизнью две прилегающие к волжским пристаням улицы — Миллионную и Живоносновскую. Этот мир даже «Нижегородский биржевой листок», вообще мало склонный к чувствительности, называл «земным адом для истязания человечества». Впрочем, в этом внимании к «земному аду» была и нескрываемая тревога домовитых людей за свое спокойствие: она была естественна при виде большого скопления босяков; так, к похоронам купца Рукавишникова этих бездомных явился, по выражению газеты, целый «легион», который можно было «безошибочно определить в 2000 человек».

Дом, где жил хозяин Горького, подрядчик Сергеев, находился в противоположной от Волги части города, на Звездинской улице, и принадлежал подрядчику землекопных и мостовых работ Г. Д. Гогину. «Место донельзя скучное, нахально-грязное,— вспоминал Горький,— я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом...»

О грязных оврагах и прудах Звездинки писал и «Нижегородский биржевой листок»:

«Все эти пруды, находясь в ложбине одного оврага, окаймляют самую лучшую часть Нижнего-Новгорода в климатическом отношении... Эти же самые вонючие лужи, при других условиях, могли бы превратиться в

чистенькие прудки с их истинным гигиеническим назначением — увлажать удушливый воздух приятною и свежею сыростью». Жуков, конечно, понимал, что пруды эти сами собой не «могли бы превратиться», но указывать хозяевам города на недопустимость свалки домовладельцами в овраги и пруды содержимого выгребных ям считал, очевидно, бестактным. Он угодливо объясняет «гигиеническую аномалию» «небрежностью низшего класса» и предлагает запретить ему... «полоскать белье» [1].

Режим дома Сергеевых и круг обязанностей Горького не позволяли ему надолго отлучаться из дому. Но хозяева, в целях воспитания в нем смирения и покорности, заставляли его ходить в церковь, и жизнь сложилась так, что церковь стала для него едва ли не единственным местом, где он был предоставлен самому себе.

Выстаивая долгие всенощные и обедни, он сочинял *свои* «молитвы»,— сами собой, без усилий, слова слагались в стихи о том, что скушно ему, «хоть бы уж скорее вырасти», что «жить — терпенья нет», что «из учения — не выходит толку», что хозяйка, «чертова кукла», «рычит волком» и что «жить — очень солоно».

И взрывы озорства, и страстные молитвы-жалобы, и горячие неясные мечты где-нибудь в темном углу церкви — все это было способом отстоять себя, свою личность в этой детской каторге.

А пытливость свою к миру он мог удовлетворять тоже своеобразно, когда стояние за всенощной ему удавалось заменять прогулками под зимними звездами среди пустынных улиц города: можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены были изнутри. «Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют,— предо мной, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь». Дома же Горький жил «в тумане отупляющей тоски», там «застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку».

[1] «Нижегородский биржевой листок», 1877, № 13; 1879, № 127; 1877, № 35; 1878, № 11, 87; 1877, № 2; 1876, № 63, 77; 1878, № 54, 57; 1876, № 33; 1877, № 32, 108; 1881, № 3; 1880, № 72; 1877, № 51.

«Отупляющая тоска» первых двух лет работы у Сергеева была прорезана выходом из этого дома к новым впечатлениям (он работал у него с перерывами).

Весной 1880 года, после первой зимы у Сергеева, Горький убежал от него на волжские пристани и нанялся там «посудником» на пароход «Добрый», в то пароходство, где еще отец его работал столяром.

В «дневнике происшествий» «Нижегородского биржевого листка» пароход «Добрый» обычно назывался «арестантским»: по давнему договору пароходчика Колчина, а потом — Курбатова с тюремным ведомством он, кроме перевозки пассажиров, буксировал еще баржу с арестантами, направляемыми в Сибирь.

В прежние времена осужденные на каторгу или ссылку в Сибирь шли этапом по знаменитой «Владимирке». С проведением в 1862 году железной дороги из Москвы на Нижний этот путь частью заменил арестантам их старинное этапное движение: теперь они направлялись по железной дороге до Нижнего, а оттуда — по Каме, Тоболу — на барже. «Арестантский» пароход «Добрый», на который удалось поступить Горькому, и делал такие рейсы: Нижний — Пермь, неделя — туда, неделя — обратно.

Горький так вспоминал свою жизнь на нем:

«Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются все какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи... За пароходом на длинном буксире тянется баржа; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осужденные на поселение и каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового... На барже тихо, ее богато облил лунный свет, за черной сеткой железной решетки смутно видны круглые серые пятна,— это арестанты смотрят на Волгу».

К массе уголовных, переправляемых таким образом, в эти годы присоединяли большое количество политических, после того как правительство, испуганное движением революционных народников, применило массовую бессудную ссылку, особенно после «высочайшего пове-

ления» 24 мая 1878 года и других актов самодержавия, которые Вл. Короленко назвал «законами о беззаконии».

Летом 1880 года, в первое лето службы Горького пароходным посудником, проследовал на арестантской барже «Доброго» и Короленко.

Горький не раз указывал на ту благотворную роль, которую сыграл в его жизни повар парохода «Добрый» — гвардии отставной унтер-офицер Михаил Антонов Смурый.

«Он возбудил во мне интерес к чтению книг,— писал Горький еще в автобиографической заметке 1897 года.— У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире». Эккартгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф — с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке [1].

Страстный любитель книги, Смурый, однако, плохо разбирался в ней. Больше всего у него было книг XVIII века, это были «те уже никому не нужные, устарелые книги, которые подсовывали малограмотному читателю жуликоватые букинисты»,— по удачному замечанию В. А. Десницкого [2].

Все это без особого выбора Смурый заставлял Горького читать ему вслух. И столь бескорыстна была его воодушевленная приверженность к книге, что он у Горького возбудил сильнейший интерес к чтению, заставил его «убедиться в великом значении книги и полюбить ее». Этого не могли сделать ни домашнее обучение, ни приходская школа, не внушившие Горькому к книге никакого интереса, ничего, кроме отвращения.

Осенью 1880 года Горький был вынужден вернуться к Сергееву, а весной 1881 года снова нанялся на пароход «Пермь» купца Любимова. Это был уже почтовый пароход. Здесь тринадцатилетний Горький служил в должности «черного» посудника, «кухонного мужика», и обязанности его,— как писал мне Алексей Максимович,— были в том, что он «мыл, чистил котлы, кастрюли,

[1] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, Гослитиздат, М. 1949—1955, т. 23, стр. 270, 271. В дальнейшем, кроме случаев особо оговоренных, ссылки будут даны по этому изданию.

[2] В. Десницкий, М. Горький, Гослитиздат, М. 1959, стр. 358.

сотейники, заведовал «гард а манже», то есть каютой, где хранились мясо, овощи и пр., надпись на дверях таких кают обычно извещала русским шрифтом, что это «Гранд манжа», или проще: «Граманжа».

Помимо внушенной Смурым тяги к чтению, жизнь на пароходе, в это первое лето его службы, в 1880 году, дала Горькому многочисленные и значительные впечатления о людях. «Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще».

«Застывшее однообразие речей, понятий, событий» создавало тот замкнутый круг, который ограждал мещанина от внешнего для него мира и служил как бы заклятием против сил, грозивших разрушить нажитое благополучие. Инстинкт собственника был верен. Неуклюжий рыдван крупного капитала в России, на поворотах своего развития, всегда мог искалечить или раздавить мелкого собственника. И вот обращение к богу за милостью и пощадой, при удовлетворении его всеми ритуальными установлениями и поверьями, могло, казалось мещанину, обеспечить богоспасенную, сытую и благоденственную жизнь.

«Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня,— рассказывал Горький о первом времени своей жизни у Сергеевых,— и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх,— он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада... Бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я — все висит на самом краю этой пустоты, и, если сделать резкое движение, все сорвется в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду».

Степень благополучия в этой среде казалась равномерной степени незнания мира вне круга своих непосредственных интересов и своего зрения. «А мы-то живем — тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!» — как говорили Сергеевы, или «живи про себя, и будет с тебя»,— как писал в «Нижегородском биржевом листке» Жуков. Это было основным и общим как для идеолога нижегородского мещанства, так и для наиболее темных мещанских элементов.

Однако некоторое различие здесь имело, конечно, место. Если хозяйка Горького верила в то, что у татарина по смерти душа горлом изливается, черная, как деготь, а Жуков считал оскорбительным видеть татарина за чтением священного писания, то можно все же признать здесь какие-то различные формы дикости; если Жуков ехидно писал о «просвещенной молодежи, везде учившейся и нигде не кончившей», а Сергеевы были убеждены, что книги вообще сочиняют только «дураки и еретики» и что читать вообще «вредно и опасно», то и здесь была тоже разная мера невежества. И если, так сказать, «отсталые» группы уповали в деле своего прибытка только на цепкие руки и на божие покровительство, то на «передовые» ложилась как бы обязанность охранять мировоззрение и охранять устойчивость порядка, благоприятного мещанину. А это требовало обобщений и — в числе других форм идеологического обобщения — литературу.

Всероссийское мещанство еще в предшествующую, крепостническую эпоху выдвинуло свою литературу — романы Булгарина, Рафаила Зотова, Загоскина, Масальского, рассказы и повести Кукольника и пр. Обилие, наряду с нравоучительно-бытовыми романами, романов исторических составляло одну из особенностей мещанской литературы. Трактуя историю как благополучнейшее движение событий к современному порядку вещей, романист внушал, что божиим промыслом история устроена преотлично и полностью оправдывает существование его, читателя-мещанина; а мещанская обработка мышления персонажей делала этого читателя как бы прямым преемником исторических героев [1].

Эта литература выражала стремление зажиточного мещанства приспособиться к диктатуре крепостников, но соответственно шаткости такой социальной позиции и литература оказалась маложизненной: блестящая передовая антикрепостническая литература уже в следующем десятилетии — в 40-х годах — оттеснила мещанскую литературу далеко на задний план, а ко времени падения крепостничества этот ряд романов в подавляющем большинстве своем стал вообще смешным анахронизмом.

[1] Насколько устойчивыми и в дальнейшем были этого рода требования мещан к искусству, показывают, между прочим, и театральные обзоры Севастьяна Микитича. «Настало время,— пишет он,— когда будут процветать общедоступные развлечения, с недорогою обстановкой, потому что деньги перешли от просвещенных людей в среду большинства сословия, на медные деньги воспитанного, которое уважает *не талант и ценную обстановку, а историческое напоминание с обыденною обстановкою*» («Нижегородский биржевой листок», 1879, № 137).

Отходил от этих романов и их прямой читатель. Бурная капитализация России выдвигала новые интересы, и с этого времени зажиточные слои городского мещанства все более переходят на литературный импорт; мы рассмотрим далее, в какой мере этот импорт соответствовал интересам потребителей.

Можно удивляться чуткости, с коей некоторые лубочные издатели, из числа так называемых «издателей Никольского рынка», уловили новые требования. Издатели эти назывались так по месту, где были расположены основные предприятия такого рода: в Москве, по Никольской улице, Лубянскому проезду и у «пролома» Китайгородской стены. К 50—60-м годам XIX века лубочные издатели уже создали свою очень сильную книготорговую сеть. Через своих агентов, через целую армию «офеней», «ходебщиков», «грушников», через передвижные лавки на ярмарках они проводили свои изделия в крестьянские массы на огромном пространстве (9).

Описание такой лавки Никольского торговца на ярмарке оставил нам Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Была тут также лавочка
С картинами и книгами,
Офени запасалися
Своим товаром в ней.
. . . . . .
Купец — со всем почтением,
Что любо, тем и потчует
(С Лубянки — первый вор!)...

Организация сбыта «народной», копеечной литературы имела уже к тому времени налаженный и довольно сложный механизм. Фабрикация же этих изделий была несложна. Иной издатель с Никольской платил за составление книжки рубля два, три и сам правил рукопись, хотя с трудом подписывал свою фамилию. Конечно, переход от такого рода деятельности к изданию обширнейших романов Понсон дю Террайля, Ксавье де Монтепена, Фортюне де Буагобэ и других новых, «знат-

ных гостей» российского быта был не прост и в условиях книготорговли того времени представлял большие трудности.

Издатели Никольского рынка гнездились в Москве, но привыкли уже работать на всю страну. Деревня была, можно сказать, «освоена» ими, но города провинции, где сидел гораздо более зажиточный и выгодный потребитель, еще не давались. Кочевая агентура, разносящая легкий и дешевый товар, для города была явно непригодна. Книжных же магазинов в провинции, за исключением 6—8 преимущественно университетских городов, в то время еще не существовало [1].

В среде провинциального купечества идея книжной торговли, требовавшей при обзаведении долгосрочного кредита, выдержки и специальной грамоты, была чрезвычайно непопулярна, в сравнении, например, с «колониальной» торговлей, «бакалеей» и прочими предприятиями, дававшими скорый, верный и ощутительный барыш. Торговля случайными старыми книгами и тем же лубочным товаром ютилась в провинции при мелких бакалейных, табачных, железных и даже дегтярных лавках. Но и эта «книжная торговля» силою вещей превращалась часто в невольную «библиотеку для чтения», потому что охотников *купить книгу* не хватало.

Одно из описаний такой лавочки и условий торговли в ней есть у Глеба Успенского в очерке «На старом пепелище», напечатанном в «Отечественных записках»

[1] См., например, «Материалы для истории русской книжной торговли», Спб. 1879. «Книжный вестник», журнал 60-х годов, неоднократно указывал на отсутствие книжной торговли в провинции и на невозможное положение людей, желающих выписать книгу из Москвы или Петербурга. До почтовых переводов еще не додумались. Звонкой монетой пересылать деньги было неудобно, предпочитали посылать бумажными деньгами на круглую сумму; со всеми почтовыми сборами книга обходилась вдвое дороже номинала, а по вычислениям «Московского вестника» иная книга обходилась дороже в три с половиной раза. Постоянными были жалобы и на обсчитывание провинциала столичными книгопродавцами, на высылку совсем не того, что требовал заказчик, и т. д.

При оторванности провинциального покупателя от производящих центров возникали в помощь ему даже особые «книжные лавки для иногородних», то есть, в сущности, посреднические конторы для покупки и пересылки провинциалу нужной ему книги на высланные им деньги. Еще в 1880 году было основано такое любопытное предприятие, как «Книжная торговля Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних)».

1876 года. Автору, закинутому случаем в родной ему губернский город и томящемуся в бездействии, коридорный служитель приносит из книжной лавки сперва «Похождения Рокамболя», потом «Воскресшего Рокамболя».

«Поистине неописуемое счастье испытал я, когда Тимофей возвратился из лавки с запиской, в которой было сказано: *«Ево ищо много будет, воскрещева... Как отдаст Животов, биззамедления предоставлю. Покудова посылаю журнал. Будет вторительно воскрешать в пяти частях»*. Точно манна небесная была для меня эта записка! Уж как я был благодарен этому «книжному лавочнику»! Я знал его, этого придурковатого мещанина, приютившегося на базаре в маленькой лавчонке с разною мелочью (табак, спички), покупавшего у гимназистов книги и снабжавшего чтением бедный люд. Тимофей сказал мне, что этот лавочник — все тот же самый: «Пьет шибко! — прибавил он,— а человек ничего...» Надо быть золотым человеком, чтобы так понять тоску читателя и предупредить его, чтобы он не скучал, что еще будет много «ево», «воскрещева»... Сколько добра сделал на своем веку этот человек, подумал я, и сколько перенес он всякого горя. Один лавочник, торгующий папиросами, у которого нанимает он уголок для своих книг, один этот лавочник вот уже лет двадцать ругает его за то, что у него нет никакой торговли, так как действительно ее нет: книгу возьмут и не отдадут; это — уж такой провинциальный закон... А он все терпит, все похлопывает пальцем по обертке «Тайн мадридского двора» — и читает о них лекцию и табачному торговцу, и писцу с почты, и мещанину, который хочет «почитаться» чего-нибудь...»

Обычная у Глеба Успенского печальная ирония доведена в этом очерке до пределов душевной муки от встречи со «старым пепелищем», как бы олицетворяющим российскую глушь в одном художественном образе. Под таким углом и в таком свете дана вся обстановка — дома, сады, глухие переулки, у которых «сил нету больше»,— соответственно этому несколько приниженно дан и придурковатый мещанин, снабжающий чтением «бедный люд».

С показаниями художника Г. Успенского мы можем сопоставить показания краеведа и статистика А. Гацисского, в эти же годы писавшего о другом губернском

городе, Нижнем-Новгороде. «Собственно, книжных магазинов,— сообщает А. Гацисский,— с правильно организованной книжной торговлей в Нижнем нет ни одного, но торговля книгами производится в 2—3 местах на Верхнем базаре да в нескольких лавочках на Нижнем базаре, где процветает преимущественно торговля московской серобумажной литературой».

Однако в Нижнем-Новгороде уже в то время существовала «общественная библиотека», та самая, в которую два раза в неделю по дамбе оврага на Звездинской улице ходила за книгами знакомая читателю по повести «В людях» закройщица. По сообщению Гацисского, читательских требований в этой библиотеке в 1874 году было 13 400, и самое большое число требований (6274) относилось «к произведениям гг. Понсон дю Террайля, Габорио и т. п.» [1].

Не приходится думать, конечно, что такие требования предъявлял к библиотеке «бедный люд». Этот «бедный люд», в частности «мещанин, который хочет почитаться чего-нибудь», удовлетворялся базарными лавочками с «серобумажной московской литературой», то есть все тем же, уже знакомым нам, никольским лубочным товаром. Но не к этой категории людей принадлежит Животов, из очерка Успенского, тот самый Животов, который упорно задерживает у лавочника «Рокамболя».

Какого он положения человек? Проживая в гостинице, он, по словам Тимофея, «писем получает — целую прорву!», так же как, впрочем, и Кузнецов, купец, и Болтушкин, который, по словам Тимофея, «тоже хорошо... довольно деликатно ведет дело». Это были дельцы и коммерсанты.

Среди других беллетристических показаний любопытен и рассказ Каронина «Места нет»; в рассказе этом железнодорожный подрядчик в бараке по ночам, воткнув на гвоздь сальный огарок, читает романы «Кровавый след», «Призрак без тела» и пр. [2].

Неправильно было бы считать, что купечество и зажиточное, предпринимательское мещанство провинции не состояло в читательском активе,— материалы того времени говорят о другом. Например, корреспонденция

[1] Справочное издание «Нижегородка», 1875, стр. 58—59.
[2] «Русская мысль», 1889, № 9.

из Твери, сообщая о работе местной библиотеки, выдавшей в 1864 году своим постоянным подписчикам 27 489 книг, и перечисляя 12 социальных категорий читателей, купцов по активности ставит непосредственно вслед за учащейся молодежью и чиновниками, делая при этом такой вывод: «По числу прочитанных книг, однако, первенство в этом перечне принадлежит купечеству (до 30 книг на подписчика)». В корреспонденции этой и по отношению к Твери подтверждается общая картина положения книготорговли в губернском городе: «Книжных лавок или магазинов в Твери нет, ибо нельзя считать за книжные магазины тех лавок в гостином дворе, где вместе с лубочными картинами, посреди сахара, чая и дегтя продаются буквари и часословы» [1].

Довольно плотный контингент читателей из среды нашего «среднего сословия» уже существовал в провинции, в то время как техника книгосбыта явно отставала. Последним обстоятельством нужно объяснить, почему таким издателям Никольского рынка, как Леухину, Земскому и Манухину, не удалось завязать достаточно широких связей с этими слоями потребителей и почему отдельные издательские пробы их, идущие еще от 60-х годов, не стали системой и не создали издательского типа, по аналогии с типом «народно»-лубочным [2].

Нужно было изобрести способ доставки товара к потребителю. Преимущество осталось за людьми, пустившими этот поток литературы по журнальному руслу.

Толстый журнал в русском литературном обиходе еще с 40-х годов стал основным, почти монопольным проводником художественной литературы. Именно «Библиотека для чтения», первый в России толстый журнал,

[1] «Книжный вестник», 1865, № 6.
[2] А. С. Пругавин в своей книге «Запросы народа и обязанности интеллигенции», Спб. 1895, разделяет лубочных издателей на собственно «лубочных», или «народных», и издателей «литературы улицы», как он их именует, относя к последним главным образом издателей Пресного, Земского и Леухина. Они действительно выпускали книги более дорогие, чем книги «народные», и со своим особым колоритом. Например, «Дамский угодник», «Весельчак с особым шиком», «Портфель секретных развлечений» и т. п.
Но такая «типизация» их издательств характерна для более позднего времени, для 80-х годов, когда усилились новые слои столичного низового читателя: мелкие торговцы, низшее «служилое» мещанство — приказчики, швейцары, лакеи и т. д.

помог издателю Смирдину установить хорошие связи с поместным дворянством провинции. А в 60—70-х годах возникает другое и весьма любопытное явление: наряду с толстыми литературно-политическими журналами, предназначенными главным образом для разночинной и дворянской интеллигенции, возникает как бы второй ряд толстых журналов — для широких слоев зажиточного мещанства. Пристраивая свой подписной аппарат к конторам старых журналов, эта мещанская периодика пользовалась готовой техникой сбыта, проникая и к индивидуальному подписчику провинции, и на полки городских общественных библиотек, уже получивших к тому времени весьма широкое распространение [1].

Содержание этой периодики было необычайно. Вся она, от начала до конца, заполнялась переводной беллетристикой, в основной массе тем, что мы привыкли называть французской бульварной литературой. Таких журналов за указанный период можно насчитать не так уж мало. Вот их список, вероятно неполный:

«Собрание иностранных романов» (1856—1885).
«Библиотека избранных романов и повестей переводных» (1861—1862).
«Переводы отдельных романов» (1867—1891).
«Сборник переводов для легкого чтения» (1867—1868).
«Магазин иностранной литературы» (1873—1874).
«Библиотека для чтения» (1875—1884).
«Журнал иностранных переводных романов» (1876—1880).
«Изумруд» (1878—1882).
«Библиотека «Мирского толка» (1880—1882).
«Библиотека иностранных романов и повестей» (1881).
«Европейская библиотека» (1881—1883).
«Библиотека исторических и уголовных романов» (1881—1882).
«Читальня» (1884—1885).

[1] Толстый журнал имел большие почтовые льготы. За получение двенадцати солиднейших книг журнала уплачивалось сбора 1 руб. 50 коп., то есть 12½ копеек за книгу. Отдельная же книга при выписке из провинции обходилась, как мы видели, вдвое и втрое дороже своей цены, не считая всяких хлопот и формальностей при посылке денег и получении книг. При выписке же журнала почтовый сбор просто входил в подписную сумму.

Вообще в глазах современников журнал имел безусловную гегемонию. «Древо литературы нашей пошло в сук журналистики», по выражению того времени. Характерно, что «Книжный вестник» даже столичных книгопродавцев пренебрежительно называет «журнальными конторщиками», которые «собственно книжную торговлю поставляют для себя второстепенной задачей, между делом» (1860, № 10, стр. 78).

Редакции этих журналов не склонны были к многословию, да и подписчики, по-видимому, понимали дело сразу. «Собрание иностранных романов» сообщало, например: «Так как некоторые подписчики изъявили желание знать, интересны ли будут романы, обещанные редакцией в 1871 году, то здесь прилагается по одному листу романов, которые начнутся с первой книжки будущего сезона». А редакция «Журнала иностранных переводных романов» объявляла просто: «В первых книгах журнала на 1877 год будут напечатаны следующие интересные романы: «Сын Роберта Дьявола», «По следам преступления», «Забытый уголок», «Страшная тайна», «Король Корсики». Имена авторов не сообщались, и, очевидно, подписчики вполне удовлетворялись одними названиями. Бывало и так, что самые названия переводимых романов и имена авторов ревниво оберегались от конкурентов, а перемены из тех же коммерческих соображений названий романов вызывали немалые курьезы. Так, например, журнал «Переводы отдельных романов» не только поместил у себя в 1879 году роман Монтепена «Маркиза Костелла», уже изданный под названием «Князь мира сего», но и объявил подписчикам, что автор *пишет* продолжение под названием «Пиковая дама» и «Могущество любви». Обещание это было дано за автора крайне опрометчиво, потому что минуло уже шесть лет, как он окончил все свои земные расчеты.

Большой успех, несомненно, сопровождал ряд таких предприятий, но из приведенного списка видно, что большинство их потерпело крушение в кризисные годы первой половины 80-х годов. Даже старейшее из них, «Собрание иностранных романов» Е. Ахматовой, не выдержало этого испытания, и только «Переводы отдельных романов», судорожно меняя программу и с перерывами, кое-как дохромали до 1891 года [1].

Но еще в начале 80-х годов выходило ежегодно более ста толстых журнальных книжек, не считая изданий смешанных, дававших, кроме переводных, и оригинальные романы сходного содержания. Можно сказать, что

[1] Нужно упомянуть, что были и предприятия, возникавшие по аналогии с вышеописанными изданиями, но под руководством известных в свое время литераторов. Они стремились противопоставить изданиям в основном с бульварной беллетристикой

не появлялось ни одного сколько-нибудь заметного романа на Западе, пригодного для изданий такого типа, который не был бы немедленно разодран на ежемесячные или еженедельные книжки в спешных и бестолковых переводах. Более того: очень заманчивые романы имели тенденцию стать сами себе журналом с соответствующей журналу техникой оформления и распространения.

Вот любопытное объявление некоего А. А. Шейнпфлуга в Риге:

НОВЕЙШИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ГЕОРГА Ф. БОРНА

НЕВЕСТА КАТОРЖНИКА.

или

ТАЙНЫ ПАРИЖСКОЙ БАСТИЛИИ

с изящными иллюстрациями. Выходит выпусками по 16 коп. с пересылкою, в три печатных листа. Каждый выпуск будет украшен большою картиною.

Новейший роман Георга Борна, известного автора превосходных романов: «Королева Изабелла», «Императрица Евгения», «Турецкий султан», «Бледная графиня» и т. д., распространенных в публике в сотнях тысяч экземпляров, имя которого приобрело громкую европейскую известность, не уступает ни в чем его прежним произведениям.

Премии

При 15 выпуске будет разослана премия	При последнем выпуске будет выдана премия
Летний ландшафт	*Зимний ландшафт*
большая олеографическая картина выш. $8\frac{3}{4}$ верш., шир. $11\frac{1}{2}$ верш.	большая олеографическая картина тех же самых размеров.

Мы не знаем степени успеха предприятий Шейнпфлуга, но, судя по тому, что объявления его помещались не только в столичных журналах, но обходили и провинциальные листки, нужно думать, что уверенность в успехе у него была. К началу 80-х годов сотни романов, многие из них в разных изданиях и под различными названиями шли непрерывной чередой к нашему «среднему» читателю. Журнальная форма распространения к тому времени уже в значительной степени подкреплялась и отдельными изданиями тех же предпринимателей. Учесть эту литературу полностью вряд ли уже и возможно. Разрозненное состояние ее в наших книгохранилищах словно свидетельствует о каких-то ожесточенных боях — несомненно, что много книг было и «зачитано» и истреблено в чтении, как в свое время это происходило с «Оракулами» и «Песенниками».

Мещанская периодика по объему не уступала литературе наших толстых журналов, а в соединении со всеми отдельными изданиями этот род переводной литературы по тиражу и объему несомненно превышал современную ей русскую литературу. И не странно ли, что передовые, демократические журналы того времени, ведя борьбу со всеми проявлениями буржуазно-мещанского склада в литературе и жизни, упорно разоблачая, например, мещанское приспособленчество Лейкина, обслуживавшего главным образом столичное среднее и мелкое купечество, поднимая целую кампанию против какой-нибудь «безыдейной» повести Вас. Немировича-Данченко, не обращали, в сущности, внимания на этот соседствующий с ними мощный литературный мир мещанства. Остроумный анализ этой литературы дал Глеб Успенский в очерке «На старом пепелище», но и он судил эту литературу не со стороны значения ее в русской жизни, а со стороны значения ее для... французского рабочего, для «бедного рабочего класса» Европы: в соответствии и под влиянием теории Н. К. Михайловского о целостном развитии личности как основе прогресса, Глеб Успенский представляет себе пролетариат («бедный рабочий класс») лишенным возможности такого прогрессивного развития и в своем отчаянии впадающим в тоску по цельности и красочности жизни, иллюзию чего якобы и давали французскому рабочему эти романы.

Вообще же в журнальной критике дело чаще всего ограничивалось или ироническими упоминаниями о «неподражаемом Понсон дю Террайле и великом Габорио»,

действительно художественную, «большую» европейскую литературу. Такими предприятиями были: «Иллюстрированный журнал» Марко-Вовчка, «Заграничный вестник» В. Корша, «Изящная литература» П. И. Вейнберга. Но все они терпели скорую неудачу «в борьбе с равнодушием публики», как тогда выражались.

Журналы переводной литературы на новых основаниях и новой формации стали возможны уже в другую эпоху, в 90-е годы, в связи с общим подъемом жизни в стране и численным ростом читателя. К этому времени относится возникновение «Вестника иностранной литературы» под ред. А. Н. Энгельгардта и других такого же типа изданий.

или попутными злыми замечаниями о том, что «в провинции, в купеческих семействах, в особенности купеческие сынки, зачитываются всякою дребеденью, особенно переводными французскими романами», или даже добродушными шутками о переводах Ахматовой «с гишпанского», как, например, в статье С. Венгерова «Русская литература в 1881 году» [1].

А между тем не только в купеческих семействах повсеместно в провинции вошла в быт эта литература, но и полки общественных библиотек ломились от нее, и статистика библиотек показывала огромные цифры требований и Габорио, и Монтепена, и Эмара, и выше всех в этих требованиях стоял Понсон дю Террайль, творец «Рокамболя», некоронованный король.

Что же это была за литература?

[1] «Отечественные записки», 1883, № 9, стр. 65; «Русское богатство», 1882, № 2, стр. 95; «Русская мысль», 1882, № 3, стр. 70.

Несколько позднее, лишь в 1887 году, когда радикальные толстые журналы в значительной степени были выбиты из своих позиций напором буржуазно-мещанской литературы, Михайловский, нападая на «Русскую мысль» за ее равнодушный эклектизм и податливость обывательщине, воспользовался сопоставлением печатавшихся в журнале исторических романов Генриха Сенкевича с бытовавшей в России французской бульварной литературой:

«Какой-нибудь Кмитиц только что не без головы стоит. Из воды выходит он сух, из огня цел, и когда глава или часть романа оканчивается эффектною картиною, как Кмитиц среди своих подвигов упал в беспамятстве, то читатель уже знает, что ему нечего бояться за участь героя: он и в десятый раз воскреснет, как Рокамболь, и не хуже приснопамятных «Трех мушкетеров» еще долго будет занимать читателя своими приключениями... Но ведь журнал не лавочка, в которой должны быть товары для всех покупателей... Журнал, желающий угодить всем, на все вкусы, будет именно лавочкой, может быть очень хорошей, но никогда не будет журналом в том высоком и ответственном смысле, который мы привыкли соединять с этим словом» («Северный вестник», 1887, № 11, стр. 140, 142).

3

Прочтите десятки этих романов, и, несмотря на разнообразные и всевозможные приключения в них, вы всегда почти обнаружите один и тот же стержень: люди «низкого» происхождения, опороченные, так сказать, с самого своего рождения,— незаконнорожденные, подкидыши, побочные дети, люди в высшей степени темные и сомнительные, но обладающие замечательными способностями, а также куртизанки необыкновенной красоты — все они чрезвычайно сложными интригами стремятся разорить благородного дворянина или честнейшего буржуа.

Люди низкого происхождения и адских замыслов проявляют при этом бездну ума и изобретательности, вследствие чего объекты их интриг находятся часто на пороге полнейшего краха и гибели, но провидение в решительную минуту всегда становится на сторону действительно знатного и сильного человека и спасает его в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Злодеи же гибнут, проявляя при этом, правда, до последнего момента безумную выдержку и не обнаруживая, к сожалению, ни малейшего раскаяния.

Покушающиеся на состояние уважаемых членов общества люди с таким порочным стремлением к богатству подвергаются в романах весьма жестоким казням,— они впадают в безумие, раздираются зверем, горят заживо, и часто конец романа освещается этим зловещим

время. На шести газетных столбцах дается живое описание разбора выставочных зданий.

Для того чтобы все время поддерживать интерес читателя к такой, по газетному придуманной, теме, нужен определенный журнальный опыт. К этому времени Горький выработал тот стиль четкого изложения, с образными беллетристическими отступлениями и иронией, которым он пользовался в своих публицистических выступлениях всю жизнь.

Фельетоном «Разгром», в сущности, кончается работа Горького как профессионального журналиста периферийной прессы.

Свои статьи, заметки, наброски он помещал в «Нижегородском листке» и «Одесских новостях» еще много времени, вплоть до 1901 года, но это сотрудничество уже не носило в *профессиональном* значении такого характера, каким окрашен период этих почти двух лет, с того времени как Горький принял предложение «Самарской газеты».

Биографические исследования и материалы

время. Н
сани-

1. ПРЕДКИ ГОРЬКОГО

(К стр. 6)

Дед Горького со стороны матери, Василий Васильевич Каширин, по данным автобиографической заметки Горького[1], родился в 1797 году, по материалам же повести «Детство» — в 1800-м. Последняя дата подкреплялась позднейшей пометкой:

«Дед говорил, что он видел пленных французов в Балахне, когда ему было 12 лет».

По данным «Детства», Каширин бурлачил и водил расшиву еще на ярмарку в Макарьев, то есть до 1817 года,— в этом году ярмарка была переведена в Нижний.

Найденная недавно метрическая запись 1807 года меняет дело, устанавливая новую дату.

В книге Покровской церкви города Балахны записано:

«У солдата Василия Данилова Каширина родился сын Василий, крещен 17 генваря».

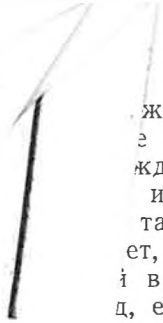
Кроме того, в книгах Спасо-Преображенской церкви города Балахны найдена следующая запись 1831 года:

«Осьмонадцатого числа, Балахнинский мещанин Василий Васильев Каширин вступил в брак с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина Ивана Яковлевича Муратова».

---

[1] Эта первая автобиография Горького написана им в 1897 году по просьбе известного историка литературы С. Венгерова. Опубликована С. Венгеровым в 1914 году в его издании «Русская литература XX века», т. I, стр. 190—192.

время. В
сани



же в начале 30-х годов Каши-
е хорошую «оседлость» и был
ждан. В книге «Ревизская сказ-
и мещан города Балахны за
там проживали: «Василий Ва-
ет, Василия Васильева сын Ми-
і в 1833 г., Василья Васильева
д, его же дочь Екатерина 2 ме-

а мы узнаем, что бабушка Горь-
году и была на шесть лет моло-

Время пер і Каширины в Нижний неизвестно. Можно думать, что еще в Балахне он был красильщиком, там и заложил основы будущего благополучия; особенно же преуспел к концу 40-х годов.

В «Детстве» дед, упоминая о «48-м» годе и о «венгерском походе», говорит:

«С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом наш потекла».

Это показание автобиографической повести подтверждается данными «Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год». Это уже не губернский, а городской документ и сообщает о В. В. Каширине как о жителе города Нижнего.

В разделе — «в каких городских или иных службах был или есть» отмечено:

«Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах».

«Купчая» от 14 января 1852 года на приобретение Кашириным деревянного дома тоже подтверждает зажиточную крепость Каширина. А в «Списке цеховых служащих по выборам городского общества» в графе: «в каких городских и иных службах был и ныне состоит» о Каширине сказано:

«По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе».

Научный работник Я. М. Каган, нашедший записи в «Обывательской книге» и в «Списке цеховых», справедливо считает очень интересным факт службы Каширина «по выбору городского общества», помимо старшиной красильного цеха, еще и гласным в думе.

В подготовленной к печати работе своей «Род Кашириных» он сообщает:

«Каширин был гласным в дореформенной городской, так называемой шестигласной думе. Эта дума состояла всего-навсего из 6 гласных, одним из них был Каширин.

Каждый из гласных был единственным представителем одного из сословий города: мещан, цеховых, купцов и т. п. Таким образом, Каширин в Нижегородской городской шестигласной думе был единственным представителем всего сословия цеховых г. Нижнего».

Годы 1855—1865 и были, видимо, для Каширина временем наибольшего благополучия и почета. Подъем этот завершился постройкой в 1865 году большого деревянного на каменном фундаменте дома с флигелем на Ковалихинской улице.

О том, когда умер В. В. Каширин, до сих пор были неокончательные сведения. По данным автобиографической заметки 1897 года, смерть его следовало отнести к 1889 году, и сам Алексей Максимович в беседе вспоминал о встречах с дедом уже по своем возвращении в Нижний. Найденная запись в метрических книгах Владимирской церкви в Кунавине устанавливает точную дату. Она удостоверяет, что 1 мая 1887 года умер, а 8 мая погребен на приходском кладбище нижегородский цеховой Василий Васильев Каширин, 80 лет, умерший «от дряхлости» [1].

Бабушка Горького, Акулина Ивановна Каширина, умерла незадолго до смерти мужа, так же как и он — нищей.

В книге времен о ней записано:

«Февраля 16-го 1887 года умерла, а 18 февраля 1887 г. погребена на городском кладбище нижегородская мещанская вдова Акулина Ивановна Каширина, 70 лет, от старости. Священник Воскресенской церкви на Яриле А. Кармазинский».

[1] Документ найден в фонде Нижегородской казенной палаты научным сотрудником Я. М. Каган.

[1] Розысками метрических записей и других ценнейших документов мы обязаны создателю бытового музея детства А. М. Горького и неутомимому исследователю нижегородской старины и горьковского прошлого Федору Павловичу Хитровскому.

время. Р
сани

1. ПРЕДКИ ГОРЬКОГО

(К стр. 6)

Дед Горького со стороны матери, Василий Васильевич Каширин, по данным автобиографической заметки Горького[1], родился в 1797 году, по материалам же повести «Детство» — в 1800-м. Последняя дата подкреплялась позднейшей пометкой:

«Дед говорил, что он видел пленных французов в Балахне, когда ему было 12 лет».

По данным «Детства», Каширин бурлачил и водил расшиву еще на ярмарку в Макарьев, то есть до 1817 года,— в этом году ярмарка была переведена в Нижний.

Найденная недавно метрическая запись 1807 года меняет дело, устанавливая новую дату.

В книге Покровской церкви города Балахны записано:

«У солдата Василия Данилова Каширина родился сын Василий, крещен 17 генваря».

Кроме того, в книгах Спасо-Преображенской церкви города Балахны найдена следующая запись 1831 года:

«Осьмонадцатого числа, Балахнинский мещанин Василий Васильев Каширин вступил в брак с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина Ивана Яковлевича Муратова».

---

[1] Эта первая автобиография Горького написана им в 1897 году по просьбе известного историка литературы С. Венгерова. Опубликована С. Венгеровым в 1914 году в его издании «Русская литература XX века», т. I, стр. 190—192.

Нужно думать, что уже в начале 30-х годов Каширин приобрел в Балахне хорошую «оседлость» и был в числе зажиточных граждан. В книге «Ревизская сказка о состоянии купцов и мещан города Балахны за 1834 год» сказано, что там проживали: «Василий Васильевич Каширин 27 лет, Василия Васильева сын Михайла — новорожденный в 1833 г., Василья Васильева жена — Акулина 21 год, его же дочь Екатерина 2 месяцев»[1].

Из этого документа мы узнаем, что бабушка Горького родилась в 1813 году и была на шесть лет моложе деда.

Время переселения Кашириных в Нижний неизвестно. Можно думать, что еще в Балахне он был красильщиком, там и заложил основы будущего благополучия; особенно же преуспел к концу 40-х годов.

В «Детстве» дед, упоминая о «48-м» годе и о «венгерском походе», говорит:

«С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом наш потекла».

Это показание автобиографической повести подтверждается данными «Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год». Это уже не губернский, а городской документ и сообщает о В. В. Каширине как о жителе города Нижнего.

В разделе — «в каких городских или иных службах был или есть» отмечено:

«Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах».

«Купчая» от 14 января 1852 года на приобретение Кашириным деревянного дома тоже подтверждает зажиточную крепость Каширина. А в «Списке цеховых служащих по выборам городского общества» в графе: «в каких городских и иных службах был и ныне состоит» о Каширине сказано:

«По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе».

Научный работник Я. М. Каган, нашедший записи в «Обывательской книге» и в «Списке цеховых», справедливо считает очень интересным факт службы Каширина «по выбору городского общества», помимо старшиной красильного цеха, еще и гласным в думе.

В подготовленной к печати работе своей «Род Кашириных» он сообщает:

«Каширин был гласным в дореформенной городской, так называемой шестигласной думе. Эта дума состояла всего-навсего из 6 гласных, одним из них был Каширин.

Каждый из гласных был единственным представителем одного из сословий города: мещан, цеховых, купцов и т. п. Таким образом, Каширин в Нижегородской городской шестигласной думе был единственным представителем всего сословия цеховых г. Нижнего».

Годы 1855—1865 и были, видимо, для Каширина временем наибольшего благополучия и почета. Подъем этот завершился постройкой в 1865 году большого деревянного на каменном фундаменте дома с флигелем на Ковалихинской улице.

О том, когда умер В. В. Каширин, до сих пор были неокончательные сведения. По данным автобиографической заметки 1897 года, смерть его следовало отнести к 1889 году, и сам Алексей Максимович в беседе вспоминал о встречах с дедом уже по своем возвращении в Нижний. Найденная запись в метрических книгах Владимирской церкви в Кунавине устанавливает точную дату. Она удостоверяет, что 1 мая 1887 года умер, а 8 мая погребен на приходском кладбище нижегородский цеховой Василий Васильев Каширин, 80 лет, умерший «от дряхлости»[1].

Бабушка Горького, Акулина Ивановна Каширина, умерла незадолго до смерти мужа, так же как и он — нищей.

В книге времен о ней записано:

«Февраля 16-го 1887 года умерла, а 18 февраля 1887 г. погребена на городском кладбище нижегородская мещанская вдова Акулина Ивановна Каширина, 70 лет, от старости. Священник Воскресенской церкви на Яриле А. Кармазинский».

[1] Документ найден в фонде Нижегородской казенной палаты научным сотрудником Я. М. Каган.

[1] Розысками метрических записей и других ценнейших документов мы обязаны создателю бытового музея детства А. М. Горького и неутомимому исследователю нижегородской старины и горьковского прошлого Федору Павловичу Хитровскому.

Если правильно похоронная запись обозначила возраст бабушки Горького, то она вышла замуж на 14-м году, что бывало в крестьянских семьях тех времен; няня из «Евгения Онегина» тоже вышла замуж 13 лет.

Обращает на себя внимание обозначение А. И. Кашириной в похоронной записи *вдовой*. Где-то в Кунавинской слободе жив был еще ее муж, но осведомиться о «семейном» состоянии бездомной нищенки причту «городской» церкви, видимо, не пришло в голову, и состояние было обозначено «по вероятности».

Впрочем, и причина смерти «от старости» тоже могла быть обозначена по видимой вероятности. В «Моих университетах» Горький так вспоминает обстоятельства ее смерти,— он в то время служил в Казани подручным пекаря в булочной Деренкова:

«Умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через семь недель после похорон из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме — без запятых — было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На восьмой день «прикинулся Антонов огонь». Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми — здоровые, молодые люди — сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора».

В письме было сказано:

«Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрет».

О родителях бабушки Алексей Максимович так сообщил в одном из писем:

«Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротою. Возможно — внебрачной, на что указывает «бобыльство» ее матери и раннее нищенство самой бабушки... О прадеде Каширина знаю только, по рассказу деда, что его убили разбойники шайки Максима Башлыка».

Больше сведений сохранилось о деде Горького со стороны отца — Савватие Пешкове. Он был солдатом времени Николая I, дослужился до офицера, потом разжалован был в солдаты и сослан в Сибирь за же-

стокое обращение с подчиненными. О бабке своей со стороны отца А. М. сообщил:

«О матери отца моего я ничего не знаю; наверное, ничего не знала о ней и бабушка Акулина, но из того, что она часто говорила мне: «отец твой тоже рос сиротою», можно заключить, что бабушка Пешкова умерла рано».

Савватий Пешков был человеком столь крутого характера, что сын его — Максим Пешков — еще в детстве не раз убегал из дому. Однажды отец искал его по лесу с собаками, как зайца, другой раз, найдя его, стал так истязать, что соседи отняли мальчика. Кончилось тем, что Максима Пешкова взял к себе его «крестный отец», пермский столяр, для обучения своему ремеслу, приписав его в цеховые города Перми. Но, видимо, не радостно жилось ему и там. Он убежал и от «крестного», кормился тем, что водил слепых по ярмаркам, а придя в Нижний, стал работать столяром на пароходах купца Колчина. Работа его нравилась: двадцати лет он уже слыл хорошим мастером своего дела — краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком.

Данные автобиографической заметки 1897 года и здесь несколько отличаются от материалов «Детства».

По первому источнику, Максим Пешков с десяти лет до семнадцати пять раз уходил от отца. Последний раз ему удалось убежать навсегда, он пешком пришел из Тобольска в Нижний. По второму источнику, Савватий умер, когда сыну его минуло девять лет, и после смерти отца он был взят крестным в Пермь.

То обстоятельство, что метрическая запись о рождении Горького называет Максима Савватиевича *пермским* мещанином, говорит за большую точность «Детства». Любопытно, что и мать Горького, Варвара Васильевна Пешкова, по смерти мужа числилась пермской мещанской вдовой, хотя никогда не жила в Перми, да и сам Алексей Максимович в списках Нижегородской ремесленной управы шел за пермяка. Этого же твердого понятия держались и в семье: бабушка ругала Горького так: «Ах ты, пермяк, солены уши!»

Из бумаги Нижегородской казенной палаты от 27 февраля 1873 года, постановившей по рапорту Ремесленной управы причислить мещанскую вдову Пешкову

и ее сына в нижегородское цеховое общество для «народного счета», видно, что в то время матери Горького было 27 лет и 3 месяца, следовательно, родилась она в ноябре 1845 года [1].

Этим данным несколько разноречит метрическая запись книги Владимирской церкви в Кунавине:

«Жена Личного Дворянина, Варвара Васильевна Максимова, умерла 5 августа 1879 года, погребена 7 августа, 37 лет, от чахотки».

Но, как и в других случаях, *метрическая запись о рождении* устанавливает окончательную дату: Варвара Васильевна родилась 26 ноября 1844 года в Нижнем-Новгороде, в приходе Одигитриевской церкви. Она умерла еще совсем молодой женщиной, на 35-м году жизни.

2. МЕТРИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

(К стр. 6)

О рождении Алексея Максимовича Пешкова в метрических книгах церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего-Новгорода, была занесена такая запись:

«Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мещанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским. Восприемниками при крещении были: Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова».

Эта запись, найденная и опубликованная в 1908 году В. Золотницким, точно установила год и день рождения Горького [2].

[1] Документы Нижегородской ремесленной управы опубликованы А. Белозеровым в журнале «Новый мир», 1926, № 3, стр. 115, 116.

[2] «О Максиме Горьком (К 40-летию со дня его рождения)», «Нижегородский листок», 1908, № 65.

По новому стилю 16 марта приходилось в XIX веке на 28 марта.

Сам А. М. колебался при обозначении года своего рождения, называя то 1868, то 1869 и считая более правильным второе. Днем же своего рождения считал 14 марта. Эта же дата значится и в ряде официальных бумаг.

Н. И. Бобкова, в замужестве Душина,— нижегородская купчиха. Сын кандидата М. Г. Иванов — отставной капитан волжского пароходства, живший в Нижнем отшельником, на покое.

Ни с «крестным», ни с «крестной» у «крестника» в дальнейшем никаких связей не было. К первому, впрочем,— как рассказывал мне Алексей Максимович,— он заглядывал в окно с улицы, удивляясь большому количеству книг, а от второй получил раз на пасху гривенник.

3. АСТРАХАНСКАЯ АРКА

(К стр. 7)

«...Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они...»

Так рассказывала Акулина Ивановна Каширина внуку. В очерках «Молодой Горький», печатавшихся в 1927 году, я, учитывая возможную художественную условность повести «Детство», писал:

«Рассказ, вероятно, легендарный, характерен как отзвук известности Максима Савватиевича по части его мастерства».

Когда эти строки прочел Алексей Максимович, он сообщил мне в письме:

«Я думаю, что отец мой должен был принимать то или иное участие в построении триумфальной арки, ибо строилась она, конечно, пароходчиками».

Биографы Александра II не указывали на посещение им Астрахани в каком-либо году, и только розыски в местных «Ведомостях» и «Листке» дали возможность установить *проезд* Александра II через Астрахань в 1871 году и факт действительного существования в честь этого события триумфальной арки у пароходной пристани,— документальность «Детства» еще раз и интересным образом была подтверждена.

Но наличие арки оказалось существенным и в том смысле, что, в свою очередь, помогло установить время переезда Пешковых в Астрахань, до этого были основания относить его на два-три года раньше.

Переезд состоялся, следовательно, *не позже* этого года. Косвенным указанием на то, что он состоялся *не раньше* этого года, служит список присяжных заседателей Нижегородского уезда на 1871 год, в котором еще значится цеховой Максим Савватиевич Пешков [1].

Таким образом, астраханская жизнь Пешковых сузилась до полутора лет. Начало ее устанавливается разысканиями об арке, а сохранившееся прошение вдовы Варвары Васильевны Пешковой в Нижегородскую ремесленную управу от 27 октября 1872 года точно определяет ее конец.

Первые воспоминания писателя, закрепленные началом повести «Детство», мы должны отнести, следовательно, к сентябрю — октябрю этого года, когда он был в возрасте четырех с половиной лет.

4. РАЗОРЕНИЕ КАШИРИНЫХ

(К стр. 10)

Найденные мной «Раскладочные ведомости налога с недвижимых имуществ по Нижнему-Новгороду» дают возможность, помимо интересного выяснения имущественного положения Кашириных, документировать вообще повесть «Детство» со стороны дат и топографии.

«Раскладочные ведомости» появляются в «Нижегородских губернских ведомостях» с 1868 года.

В этом году во 2-й Кремлевской части (в этой части города находилась Ковалихинская улица) по «Ведомостям» значится дом цехового Василья Васильева Каширина, оцененный по городской оценке в 2140 рублей, и дом в совместном владении цеховых Вас. Вас. Каширина и Якова Вас. Каширина в Рождественской части, оцененный в 460 рублей.

1869 год не вносит изменений в это положение, но уже в 1870 году дом во 2-й Кремлевской части (несомненно, что это дом на Ковалихе, во флигеле которого

[1] «Нижегородские губернские ведомости», 1870, стр. 533.

родился Горький) переходит к надворному советнику Раевскому,— это устанавливается тождеством соседей-домовладельцев.

С этого же года дом в Рождественской части переходит во владение одного Якова Вас. Каширина. Когда впоследствии в «Ведомостях» появляется наименование улиц, то по соседям-домовладельцам устанавливается тождество этого дома с известным по «Детству» домом на Успенском съезде, одноэтажным, «с нахлобученной низкою крышей и выпученными окнами».

В доме на Успенском съезде в год возвращения Пешковых из Астрахани и жили старики Каширины с семьями двух взрослых сыновей, здесь помещалась их общая красильня, здесь в 1872 году поселяется Горький с матерью. Дом этот сохранился до сих пор, и А. М. в мае 1936 года по просьбе местных работников начертил на память план дома и указал назначение комнат.

В 1871 году Вас. Вас. Каширин покупает дом в 1-й Кремлевской части, оцененный, по «Ведомостям», дешево, в 276 рублей. Возможно, что это был упоминаемый в «Детстве» дом на Новой улице, но, по данным «Ведомостей», районирование того года неясное. Уже в 1873 году дом этот переходит к унтер-офицеру Васильеву.

Так же как дом на Успенском съезде, хорошо известен читателю по «Детству» и дом на Канатной улице, с тремя окнами на улицу и с чердачным окном наверху.

По «Ведомостям», он оценен в 306 рублей. Вас. Вас. Каширин владел им года полтора, в 1875 и в 1876 годах, вероятно — до осени, как об этом и рассказывается в «Детстве». Еще 15 июля 1876 года «Нижегородский биржевой листок» в «Дневнике происшествий» сообщал:

«В ночь на 12 у проживающего на Канатной улице, в своем доме, цехового Василья Каширина, чрез взлом висячего замка у амбара, похищены разные вещи на 14 рублей 10 копеек».

Соседями этого дома, в соответствии с рассказанным в «Детстве», значатся: «дом и флигель цеховых Елизаветы и Варвары Петровых Овсянниковых» (в этом доме жил известный по «Детству» старый полковник) и «деревянный на каменном полуэтаже дом

и деревянный флигель коллежского регистратора Петра Николаевича Бетлинга».

Сюда приезжала мать Горького, здесь, в доме Бетлинга, она познакомилась с Максимовым, своим вторым мужем, и отсюда же уехала с ним в Москву, снова оставив Горького на попечение деда.

В том же 1876 году, когда продан был дом на Канатной, продается и дом Якова Вас. Каширина на Успенском съезде.

С этого времени всякие сведения о владениях семьи Кашириных с таблиц «Ведомостей» исчезают.

В автобиографической заметке 1897 года Горький называет деда владельцем нескольких домов и трех мастерских. Это, очевидно, относится к периоду наибольшего успеха красильного дела Каширина, к тому времени, когда он избирался и переизбирался ремесленным старшиной красильного цеха. В период, освещенный здесь, имеются сведения только еще о мастерской Михаила Васильевича Каширина, находившейся на Большой Покровской улице. Сведения о ней сохранились благодаря известию о краже, обнаруженной в этой мастерской 25 февраля 1870 года [1].

О том, что Михаил Каширин владел не домом, а только мастерской, можно заключить также из списка участвующих в городских выборах, по которому видно, что Василий и Яков Каширины уплачивают налог с недвижимостей, а Михаил — только с промысла [2].

5. ШКОЛА

(К стр. 13)

До поступления в Слободско-Кунавинское приходское училище Горький около месяца, в январе — феврале 1876 года, ходил в Ильинское приходское училище — по месту своего жительства и «приходу» на Канатной улице. Заболев оспой, он выбыл из этой школы.

Приходские училища (нужно отличать их от церковноприходских школ, состоявших в ведении синода)

[1] «Нижегородские губернские ведомости», 1870, стр. 104.

[2] «Нижегородские губернские ведомости», 1870, Приложение к № 43.

содержались городом и «почетными блюстителями» из купцов.

Вот устройство и программа таких школ:

«Особенная цель приходских училищ — безвозмездное распространение первоначальных знаний между людьми всех состояний и обоего пола. В эти училища допускаются дети не моложе 8 лет, а девочки не старее 11. От вступающих не требуется никакой платы и никаких предварительных сведений. В них преподаются следующие предметы: 1) Закон божий по краткому катехизису и священной истории; 2) чтение по книгам церковной и гражданской печати и чтение рукописей; 3) чистописание и 4) четыре первые действия арифметики» [1].

Учительский штат приходской школы состоял обычно из двух лиц: «учителя» и «законоучителя». Фигуры обоих представителей слободско-кунавинской педагогии весьма колоритно изображены Горьким в повести «Детство».

История сохранила их имена.

В «Адрес-календаре Нижегородской губернии на 1873 год», в штате Слободско-Кунавинского училища значатся: законоучитель Александр Виноградов и учитель Иван Молниев [2]. Эти сведения подтверждаются и другими данными. Н. Сигалев, товарищ Горького по кунавинским похождениям, также вспоминает, в письме к нему, учителя Ивана Андреевича Молниева, по прозвищу «бритая губа». Подписи Виноградова и Молниева имеются и на похвальном листе, выданном Горькому Слободско-Кунавинским училищем 18 июня 1878 года.

Об обстоятельствах, при которых получено было Горьким это отличие, он так вспоминает в «Детстве»:

«В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как

[1] «Памятная книжка Нижегородской губернии на 1865 год», ч. II, справочные сведения, стр. 13.

[2] «Адрес-календарь Нижегородской губернии на 1873 год», стр. 128—129.

трудно мне было ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист.

Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх, вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду.

Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства».

То обстоятельство, что Горький, проучившись в Кунавинском училище год, сдал экзамен в третий класс, указывает, что он поступил в это училище прямо во второй класс, и, следовательно, краткое хождение в Ильинское училище и начатки домашнего учения заменили ему первый класс.

«Испорченный» надписями похвальный лист сохранился. Вот его текст:

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Н.-С. Кунавинское начальное училище, одобряя отличные пред прочими успехи в науках и благонравие ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом, в пример другим.

Июня 18-го дня 1878 года.

Рукою награжденного комически переиначены даты, к фамилии «Пешкова» прибавлено прозвище «Башлыка», к «успехам в науках» прибавлено «и шалостях», а название училища — Нижегородско-Слободское Кунавинское расшифровано так: «Наше свинское Кунавинское».

Прозвище «Башлык» имеет своим источником, конечно, имя Максима Башлыка, атамана разбойников, о «подвигах» которого рассказывал Горькому дед.

В повести «Детство» школа обрисована еще чудесной сценой приезда епископа Хрисанфа, который защитил Горького от преследовавших его «педагогов» и дал ему возможность окончить класс.

Горький выбыл из Слободско-Кунавинского училища в июне 1878 года, Хрисанф приехал в Нижний для занятия епископской кафедры 6 февраля 1878 года. Встреча их, изображенная в «Детстве», относится, следовательно, к этому промежутку времени.

Посещение епископом начальной школы для городской бедноты было, вероятно, явлением совершенно необычным. Но Хрисанф, поскольку можно судить по документам «Нижегородских епархиальных ведомостей» того времени, уделял вообще большое внимание образовательной части.

Заинтересованность его в ученике начальной школы Пешкове не имела других последствий, кроме того, что помешала уволить его «за недостойное поведение»,— напротив, ему даже был выдан аттестат о «благонравии», оспоренном, впрочем, как мы видели, им самим; все это не имело других последствий.

В «сведениях» о Горьком нижегородского жандармского управления, в графе «место воспитания», значится:

«Обучался в Нижегородском Ремизовском приходском училище, но курса в оном по бедности не окончил, оставил это училище в 1879 году».

«Ремизовским» Слободско-Кунавинское училище называлось, вероятно, в просторечии,— так же как Ильинская школа, в которой Горький учился до того, называлась «Ямской». Но дата неверная, как неверно и наименование училища ремесленным, встречающееся в других материалах.

В Нижнем-Новгороде было одно ремесленное училище — Кулибинское, но типа значительно более высшего, чем училище «приходское». Серьезные заботы о нем нижегородского купечества были связаны с необходимостью иметь кадры пароходных машинистов, ремонтных рабочих и вообще низшего технического персонала.

6. О РОДСТВЕННИКАХ

(К стр. 15)

По художественным образам повестей «Детство» и «В людях» читатель знает не только прямых родственников Горького — отца, мать, бабушку и деда, но и двух старших сыновей Каширина — «дядю Михайлу» и «дядю Якова», а также сыновей их — «Сашу Михайлова» и «Сашу Яковова».

В письмах ко мне Алексей Максимович не раз возвращался к воспоминаниям об этих людях его далекого прошлого, рассказывая о дальнейшей жизни их, за пределом времени, освещенного автобиографическими повестями.

Он всегда тепло вспоминал при этом «Сашу Михайлова».

«Александр Михайлович Каширин, двоюродный брат мой, был действительно хороший человек, но босяк и потому — пьяница. Не алкоголик, а человек — очень мягкий, безвольный и пьющий из чувства товарищества,— «за компанию».

Романтик, лирик. Трижды судился за мелкие кражи. Но — воровал опять-таки из мотивов товарищества. Устроишь его «на месте», он поживет немного, тихонький, всем покорный, а товарищи, «золотая рота» из Миллионной улицы в Нижнем, соблазнят его, он и украдет *для них*.

Я вывез его из Нижнего в Крым, пристроил в Симеизе сторожем в имение графа Милютина, на 22 рубля, при хозяйских харчах и квартире, но Саша, прожив месяца три зимних, заявил мне: «Не могу жить без Волги», и — удрал.

...Он был веселый, тихий юморист, не дурно пел, отлично играл на гармонике. Был женат, но с женой, очень милой женщиной, не прожил и года, сбежал в «золотую роту». О нем можно бы написать роман, подобный роману Лоти — «Мой брат Ив»[1].

[1] В другом письме А. М. еще так писал о «Саше Михайлове»: «Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель — страстный — музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: «Зачем ты все о страшном пишешь?» Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал все и, являясь ко мне полуголый, говорил: «Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами». Товарищи — закоренелые босяки. Устроил я его у графа Милютина в Симеизе очень хорошо... Через пять месяцев он пришел ко мне: «Не могу,— говорит,— жить без Волги». И это у него не слова были, он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядя, как течет вода. «Люби воду текучую»,— заповедала Мамелфа Тимофеевна сыну своему Василию Буслаеву.

Вообще это был замечательный парень, и, на мой взгляд, лишь по какой-то уродливой случайности не стал поэтом, писателем. Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами. Умер он в больнице от тифа, когда я жил в Италии» («Русский евгенический журнал», 1926, т. IV, стр. 128).

Переписка моя с Алексеем Максимовичем началась в 1925 году, когда я принимал участие в редактировании ленинградских альманахов «Ковш». Алексей Максимович интересовался их составом, сообщал отзывы, прислал для альманахов свой рассказ «О тараканах».

Затем темы переписки нашей расширились рядом других редакционно-издательских дел. Но при каждом почти письме я стремился получить от него ответ на тот или иной вопрос, разрешить который мне необходимо было по моим биографическим работам и ответ на который я мог получить только от него.

Алексей Максимович отвечал иногда односложно, не очень охотно. «Надоело мне вспоминать о прошлом,— писал он,— каждый раз, принимаясь за это, точно узкий сапог надеваешь: сапог-то хотя и совсем изношен, а все ногу жмет». Но иногда, в счастливые для меня минуты, он присылал целые сцены прошлого, как бы эскизы целых рассказов, отмеченных печатью его изумительного мастерства.

Так случилось, когда я послал ему три старинные фотографические карточки с просьбой указать, кто на них изображен. Алексей Максимович сперва начал писать имена этих людей на обороте карточек, потом это показалось ему почему-то неудобным, и он перенес их на бумагу. А затем уже, «зацепившись» за одно из лиц и увлеченный воспоминаниями, написал такое письмо:

«Дорогой Илья Александрович,
возвращаю снимки.

1.—

Михаил Васильевич Каширин, мой дядя; тот, который переломил палкой руку бабушке. Его вторая

жена — Надежда, дочь трактирщика Чиркова. Сын их, вероятно — Константин.

2.—

Дети М. Каширина от второй жены: Константин, Николай, третьего не знаю, как зовут. Двое были рабочими в Сормове, теперь, кажется,— партийцы.

3.—

В середине с вытаращенными глазами — М. Каширин, по бокам — дети его; впереди, с левой стороны, бородатенький — племянник, сын Якова Каширина Александр.

Сей последний, несмотря на серьезное выражение лица его и фуражку с гербом,— личность «сильно комическая». Его мать умерла, когда ему было пять или шесть лет от роду. Так же как и первая жена дяди Михаила, она взята была из обедневшей дворянской семьи. Александр утверждал, что, умирая, она внушала ему: «Помни, что в тебе течет дворянская кровь!» Поэтому Саша, будучи помощником Криваусе, регента церковного хора, начал носить дворянскую фуражку, но вскоре это было запрещено ему полицией. Он заменил этот «головной убор» фуражкой инженера путей, однако и это повело к неприятностям, так что ему пришлось носить шляпу, в ленту которой он воткнул серебряную стрелу. Жизнь «В людях» начал мальчиком в магазине обуви Леонтия Порхунова, затем стал приказчиком, а мальчиком — я.

Далее: он был певчим — второй тенор — в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова,— отца Ивана, поэта; далее,— как сказано — помощником регента; «сидельцем» в «монопольке», но «просчитался», был судим и понес какое-то наказание, затем, стремясь в урядники, купил очень пестрого коня и учился ездить верхом, гарцуя в поле, около оврага, куда сваливали городской мусор. Конь сбросил его в овраг, и — бесследно исчез, а Саша вывихнул ногу и сломал два пальца на левой руке.

После этого он стал носить синие очки и пробовал организовать «Бюро похоронных процессий». Так как все его деловые предприятия субсидировались мною,— он предложил мне принять участие и в «Бюро». Это было уже в 1903 г. Хорошо помню мотивы предложения. Он говорил мне: «В городе тобой интересуются,

так что если на вывеске будет твое имя вместе с моим,— мы покойников получим». По недостатку времени, а так же по некоторой антипатии к делам коммерческим, я отказался от организации «Бюро похоронных процессий», но денег ему дал. Он купил николаевскую шинель с воротником шалью, меховую шапку, два кольца, с красным и зеленым камнями, орден Станислава низшей степени, медаль «За спасение погибавших» или утопавших. Орден я не советовал ему носить, а медаль он все-таки прикрепил на узенькую грудь свою.

Был он высокомерен и труслив, деспотичен и подхалимоват, к людям не дворянской крови относился пренебрежительно, почти брезгливо. Старался говорить барственно и веско, но говорил тускло и «своим словцом» не обладал. Впрочем, кажется, он слово «хорошо» заменял менее ответственным — «удовлетворительно».

О своих неудачах он рассказывал не жалуясь, тоном охотника, который «своими глазами видел» единоборство лисы с тетеревом и победу тетерева над лисой. Говорил: «Может быть, бога-то и нет, а в церковь ходить все-таки следует, приличнее». Приличия он соблюдал строго.

Отлично, как и отец его, дядя Яков, играл на гитаре, вдвоем они, под аккомпанемент гитар, чувствительно распевали старинные романсы: «Там, где море вечно плещет», «Кольцо души-девицы я в море уронил», «Стонет сизый голубочек», «Как от ветки родной лист осенней порой, оторвавшись, по ветру летает», «Что ты, сунженец, не весел, беззаботный сорванец». Я до сего дня помню десятка полтора, два таких романсов. Пели и «Стрелочка» и «Эх, Машуха-полорота, ты не шляйся за ворота», но оба предпочитали веселому — «чувствительное».

Дядю Якова Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец же — любил его,— «души в нем не чаял»,— смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

— Саша-то, а Бар-рон...
Барон суховато покашливал, приказывая отцу:
— Каширин, ты что же, брат, забыл про самовар?»

И снова вспоминал «Сашу Михайлова»:

«У Михаила Каширина был от первой жены сын, тоже Александр, удивительно милый человек, но по природе своей — лентяй, бродяга, профессиональный босяк. Об этом Александре можно бы написать не хуже, чем Лоти написал книгу «Мой брат Ив».

Понятно было мое восхищение его рассказами по поводу карточек. В следующем письме Алексей Максимович писал:

«Ваше отношение к моим «комментариям» побудило меня дать несколько черточек к характеристике дяди Михаила, думаю, что этого требует справедливость наблюдателя и свидетеля.

Был он, дядя Михаил, человек тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек. Странно,— однако мне кажется, что большинство людей, именуемых Михаилами, именно таковы. Весьма возможно, что в характере Михаила Каширина было нечто сродное с Михаилом Ивановичем «Растеряевой улицы». Бабушка называла его: «злоокий». «Эх ты, змей злоокий! Кикимора злоокая!»

Глаза у него — круглые, птичьи, белки — в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил — быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи,—так пьяные идут в драку. Работу — не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой. Бегал по двору, засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске и — матерно ругался.

Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтоб он не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой, как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: «Господи! Из-ззувечила!»

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: «По-азбучному»,

наполняя это слово различным содержанием, произнося его то — с иронией, то — пренебрежительно или равнодушно, изредка — одобрительно.

Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу,— у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок долго не поддавался травле, но когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: «Отстань, пьяное чудище!» Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: «По-азбучному!» — и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтоб поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: «Аг-га, по-азбучному!»

Это словцо заменилось у него другим: «кусательно». «Кусательно» пели певчие обедню, «кусательно» горячи были щи и «кусательно» штрафовала Ремесленная управа. Затем явилось слово — «Рудольф», и так же, как в два первые, он влагал в него различное содержание. Этим его пристрастием к необыкновенным словам я воспользовался для Сатина в «На дне» [1].

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать,— ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку.

Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одеже, затем женатый на дворянке — принужден был жить с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему».

---

[1] С этим пристрастием Михаила Каширина связано, несомненно, и такое, например, место в «Жизни Матвея Кожемякина»:
«— Что такое? — удивительно взвыл Тиунов.— Стой, тут надобно коснуться глубины! Просто, по-азбучному...
А Дроздов, обиженно всхлипывая, доказал Шакиру, который отступал перед ним в угол:
— У меня мать три месяца с графом Рудольфом...»

Что же касается «Саши Михайлова», то сходство его с матросом Ив Кермадек из романа Лоти было действительным сходством характеров. Добряк и мечтатель, душевно чистый человек, Ив гибнет в силу окаянных условий своей жизни и вследствие той непобедимой уже слабости, которою страдал и Александр Каширин.

«— По крайней мере вы отлично знаете, брат, что я переменился теперь и есть *нечто*, с чем совершенно покончено; ведь не об этом вы говорите?

А я пожал руку моему брату Иву, стараясь улыбнуться, как человек, вполне доверяющий.

Нужно бы уметь прекращать истории в жизни, так же как мы прерываем истории в книгах...»

7. МОДНЫЙ МАГАЗИН ОБУВИ

(К стр. 17)

В «Нижегородском биржевом листке» Порхунов рекламировал свое предприятие как «огромный выбор всех сортов обуви венских, с.-петербургских, московских и варшавских фабрик в оптовой и розничной продаже».

Автобиографическая повесть Горького «В людях» начинается со сцен, происходящих в магазине Порхунова. Там же рассказывается и о взаимоотношениях Горького с его двоюродным братом, Александром Кашириным, сыном Якова Вас. Каширина,— «Саша Яковов» в повести «Детство».

Он поступил к Порхунову раньше Горького и имел уже над ним некоторое старшинство. Служба Горького у Порхунова прервалась весной 1879 года, Каширин же еще оставался в магазине некоторое время, что видно из такого происшествия, зарегистрированного «Нижегородским биржевым листком» 22 июля 1879 года:

«Дочь диакона Анна Павлова заявила, что она в час дня 19 числа была на Б. Покровке в магазине Порхунова для покупки обуви и там нечаянно обронила кредитный билет в 3 рубля. Подозрение в поднятии денег она заявила на служащего в магазине мальчика 13 лет, сына нижегородского цехового, Александра Каширина, на том основании, что он находился на том

месте, где обронены были деньги, и что, кроме его, тут никого не было. Мальчик Каширин в поднятии денег не сознался, и при нем по осмотре ничего не найдено».

Александр Каширин не долго служил у Порхунова и вскоре вступил певчим в церковный хор Рукавишникова, курьезное, хотя и весьма солидное барско-купеческое предприятие[1]. Отца его, Якова Вас. Каширина, постигло общее всем линиям семьи Кашириных разорение и, так сказать, «деклассация». Но «Саша Яковов», в отличие от своего двоюродного брата «Саши Михайлова», сошедшего в босяки, старался, как мы видели из письма Алексея Максимовича, занять, хотя и без особого успеха, возможно более, по его представлению, эффектное место в мещанском кругу.

В 80-х годах жизнь Кашириных представляла картину распада мещанской семьи, эпизоды из ее быта и производимый ею шум проникали (через полицейские протоколы) даже в местную печать.

Вот изумительное сообщение «Нижегородского биржевого листка» от 13 ноября 1884 года (времени, когда Горький переехал в Казань и территориально уже не соприкасался с Кашириными):

«Проживающий на Готмановской улице, в доме Веселовского, нижегородский мещанин Василий Васильев Каширин 10 ноября, в 12 часов утра, заявил, что 7 ноября он попросил внука своего, нижегородского цехового Александра Яковлева Каширина, находившиеся у него в незапертом сундуке деньги 90 руб. переложить из одного места в другое, а сам в то время выходил на двор; возвратившись со двора, он проверил действительность перекладки денег в сундуке и сундук тот завязал веревкой; 10 же ноября стал осматривать сундук и нашел веревки целыми, а денег в сундуке не оказалось; почему он и подозревает в краже их своего внука Александра Каширина...»

К этому времени старик Каширин, видимо, был уже на пороге умственного расстройства.

---

[1] «Знатоки спорили,— писал мне С. И. Мицкевич,— какая капелла лучше, Императорская или Рукавишникова. Солисты этого хора, бас Трезвинский и тенор Кошиц, были потом первыми солистами в Большом театре в Москве, его регентом был небезызвестный в свое время композитор и скрипач Иванов».

8. ЕЩЕ О РОДСТВЕННИКАХ

(К стр. 18)

«Кто это «М., дальний родственник» мой? — писал мне Алексей Максимович.— Нужным считаю осведомить Вас, что существуют люди, облыжно и неведомо — зачем? — именующие себя родственниками моими; даже из Канады прислали мне семейную фотографию: изображено на ней человек десять обоего пола и все — неоспоримые евреи. Где-то в Закавказье живет «родной брат» мой, по имени Серафим, а по телеграммам его — сумасшедший.

В 29-м году, в Москве, пришла дама и объявила: «Я — ваша дочь!» Спрашиваю: — Почему? «А вот,— говорит,— в 903-ем году вы принимали участие в разводе мамаши моей с ее мужем, так, очевидно, была у вас личная заинтересованность в этом деле...» Совместно и подробно разобрались в событиях, и оказалось, что я к «делу» непричастен, да и от места действия далеко был. Доказательства в пользу «алиби» моего удовлетворили даму, посмеялись мы с нею, и она ушла, оставив у меня впечатление, что история выдумана ее желанием познакомиться с писателем.

Вообще — родственников много, но есть и настоящий троюродный брат, даже стихи пишет; недавно прислал целую тетрадь, рекомендуется так:

Я не всамделишный поэт,
Какие есть и были встарь,
Не член поэтов цеха — нет!
И не писательства кустарь.

Это — тот самый бывший мальчик, который, открыв кран самовара, выпустил из него воду, вследствие чего самовар распаялся, а меня — выдрали [1].

Прилагаю его письмо, может быть, годится Вам, биограф».

Письмо этого «спутника» отроческих лет Горького действительно не лишено интереса.

«Уважаемый Алексей Максимович!

Года три я думал, но все же не решался беспокоить Вас, особенно в Москве.

[1] Об этом эпизоде рассказывается в повести «В людях».

Дело вот в чем.

Я думаю, что еще и отец мой говорил Вам, что меня считали талантливым и математиком, и художником, и слесарем и пр., но все эти грехи отпали — проще — не пригодились мне в жизни.

Года три-четыре тому назад — совершенно случайно у меня обнаружилась еще одна и уже никак не ожидаемая «способность» — писать рифмой и при настроении без конца.

В первое время меня это интересовало, и я записывал всю попадавшуюся под руку бумагу.

Написанного я никому не читал, домашние хотя и знали, что я «пишу», но никогда этим не интересовались, считая это (да и я сам) шуткой и при периодических уборках все написанное сжигали или шло в уборную.

С год назад я решил уцелевшие отрывки занести в тетрадь (посылаю Вам).

На днях после годичного антракта в писании, я случайно проговорился одной даме (при встрече Нового года) о своем грехе и по ее просьбе описал эту встречу, а для заполнения тетрадки и еще кое-что (конец посылаемой тетрадки).

Искренне прошу Вас поверить, что я не собираюсь в поэты и мысли не имею об этом, но меня интересует чисто психологически: в жизни мне менее всего было до стихов, даже в молодости «этого» за мной не водилось, почему же на 50-м году жизни эта «способность» проявилась?..

Говорят — ничего и похоже на настоящие стихи. Сам я понимать написанного мной не могу; знакомых из лиц «пишущих» не имею абсолютно; обратиться к незнакомым — не остроумно — читать едва ли будут. Решил обратиться к Вам.

Само собою, Алексей Максимович, я не прошу Вас читать всю посылаемую ерунду, но если будет время, просмотрите на выдержку и, если найдете нужным, ответьте.

Вновь повторяю, меня интересует один лишь вопрос — была ли во мне эта «способность», как и многие другие действительно бывшие, свойственна мне или же она появилась под действием внешних факторов уже на конце жизни и действительно писанное есть стихи?»

9. ГРУШНИКИ

(К стр. 27)

Говоря о распространении в 60-х годах лубочной литературы через «офеней», «ходебщиков», «грушников», я сделал в журнале «Звезда», где печаталась моя работа, такое примечание:

«Грушниками» назывались развозчики товара по деревням, имевшие в своей телеге род универмага и занимавшиеся не только продажей, но и меной, сбывая ситец, ленты, платки, книжки, пряники, вареные груши и т. д. и принимая в обмен домотканое полотно, лен, старое железо и пр.

Этим они отличались от «офеней», торговавших преимущественно книгами и картинками, и от «ходебщиков» и «коробейников», тара которых была мало пригодна для широкой мены.

«Грушником» является всем известный «дядюшка Яков» у Некрасова, кричавший:

По грушу! по грушу!
Купи, сменяй!»

Прочтя это примечание, Алексей Максимович написал мне:

«Грушниками» назывались уличные продавцы пареной груши. По окраинным улицам верхневолжских городов хаживали грязные, отрепанные мужички, толкая перед собой двухколесную тележку, в тележке — кадка с мелкой грушей, которая покупалась в Рязани. Ее парили в корчагах, добавляя к ней брюкву и немного сдабривая сии продукты патокой и солодом,— получалась густая каша темно-глинистого цвета.

Идет такой человек и поет:

Садовы, сладки
Пареные груши-и!
Тащи, ребята,
Чугун, железо,
Кости, хрусталь, тряпки,
Худые голицы-и!

Напев — такой, что можно думать: именно так выпевали бирючи «государевы указы». Клич этот вызывал на улицу мальчишек, и они «тащили» заранее собранные кости, тряпки и все прочее, за что грушник платил

своим очень неприглядным, но вкусным товаром, черпая его из кадки деревянным черпаком, вместимостью в три столовых ложки — самое меньшее.

Но он платил также от копейки до пятака за медь: ручки дверей, скобы шкафов, подсвечники, самоварные конфорки и прочее такое. Он особенно любил медь и поучал ребят, где и как взять ее. Любил он пуговицы всех качеств, охотно брал чайные чашки, солонки, перечницы, вообще брал всякую домашнюю мелочь.

Ребятишек за эти меновые операции секли более или менее жестоко, грушника иногда родители останавливали, обыскивали и, находя у него ценные вещи, били.

«Дядюшка Яков» Некрасова не имеет никакого родства с грушником. Редко бывало, чтоб грушник имел телегу и лошадь, но — бывало.

Умнейшие из родителей, чтоб отвадить детей от краж, внушали: грушники — золотари, то есть ассенизаторы, иначе — г.... чисты — и в кадках у них именно — оно самое. Но хотя пареная груша видом своим весьма напоминала его — сластоешки не смущались этим, и поучения родителей успеха не имели».

Это описание явилось случайно, благодаря расхождению в понимании термина «грушник».

Расхождение возникло потому, что тип продавца груш изменялся по времени и месту. О той разновидности его в поволжских городах, которую описал Алексей Максимович, есть статья в «Волжском вестнике» 1891 года, № 77: «Грушники как причина нравственной порчи детей».

Грушники-офени бытовали в более раннюю эпоху, о них встречаются сведения в литературе 60-х годов.

Но еще в «Русском богатстве» 1881 года, в статье А. Мичурина о народной книжной торговле есть описание грушника, развозящего по деревням и книжки в числе других товаров.

Этот случайно возникший рассказ Алексея Максимовича может дать читателю наглядное представление о тех его чудесных устных рассказах, когда, в беседе, иногда по самому незначительному поводу, он начинал вспоминать картины прошлого.

И, возвращаясь к этому же в следующем письме, на мой вопрос — какою же грушей торговал «дядюшка Яков»? — Алексей Максимович отвечал:

«Дядюшка Яков» мог торговать и пареной грушей, и просто грушей. «Моченой» грушей, грушевым и можжевельным квасами торговали в Нижнем, на Почайне, специально для этого дела созданные природой толстые бабы».

10. ГОРЬКИЙ И БАЛЬЗАК

(К стр. 47)

В письме Октаву Мирбо, относящемся к 1911 году, Горький обращается к воспоминаниям о первых годах своего сознательного чтения.

Порядок чтения по этим воспоминаниям дан несколько отличный от того, который через некоторое время по более детальной работе памяти описан в автобиографической повести «В людях». Но остается то же соотношение между «авантюрными» романами, «психологической» повестью Гонкура и сочинениями Бальзака.

«Вспоминать о творчестве Бальзака,— пишет в этом письме Горький,— мне так же приятно, как путнику, идущему по скучной, бесплодной долине вспоминать когда-то пройденный им край, плодородный, богатый красотой и силой.

Мне было лет тринадцать, когда я прочитал первую книгу француза — это была книга Эдмонда Гонкура «Братья Земгано»,— трогательная история жизни артистов, людей, обреченных роком на духовное одиночество в тесном, искажающем душу круге враждебного любопытства к ним.

Эта славная книга взволновала меня своей человеческою грустью и навсегда внушила мне особенно внимательное, страстное и сочувственное отношение ко всем людям, отдающим миру лучшее своей души.

В то же время Гонкур разбудил у меня жажду ознакомиться с литературой Франции, историю которой я в то время немного и отрывочно знал и которая представлялась мне страною рыцарей, страной героев. Я стал спрашивать у знакомых гимназистов, какие есть авторы во Франции, и просил их доставать мне переводы французских книг.

Мне пришлось проглотить бесчисленное количество томов Дюма-отца, Понсон де Террайль, Буагобея, Законнэ, Габорио, Ксавье де Монтепена и с десяток других

авторов, прежде чем в руки мои попал томик Бальзака — это была «Шагреневая кожа».

Ясно помню то неописуемое наслаждение, с которым я читал страницы, где описывается лавка антиквария,— это описание остается для меня одним из лучших образцов пластики слова. Другое место в этой книге, поразившее меня своим мастерством,— диалог на банкете, где Бальзак, пользуясь только бессвязными фразами застольного разговора, рисует лица и характеры с поражающей отчетливостью.

Я стал искать Бальзака, и следующая его книга, прочитаная мною, была «Père Gorio» — это окончательно победило меня, и долгое время я чувствовал себя Растиньяком, грозящим миру местью за попранное достоинство человека, за те боли, которыми люди наполнили его грудь. Мне в те дни плохо жилось, но я был здоров и поэтому стал романтиком.

«Человеческая комедия» была прочитана мною уже лет в двадцать, эта книга нанесла сильнейший удар моему неоформленному романтизму, и я почувствовал в ней гений Бальзака и полюбил его горячей любовью, как, вероятно, любят учителя и друга.

Двумя-тремя годами позднее в России явился перевод полного собрания сочинений Бальзака, я дважды прочитал все его книги и тут понял всю величину этого писателя, эпической размер его таланта изумил и пленил меня. Широта его планов, смелость мысли, правда слова и гениальные предвидения будущего, уже во многом оправданные настоящим,— делают его одним из величайших учителей мира.

Шекспир, Бальзак, Толстой — вот для меня три монумента, воздвигнутые человечеством самому себе».

«Мне хочется сказать еще,— так заканчивает письмо Горький,— что книга играла в жизни моей роль матери и что книги Бальзака наиболее дороги мне той любовью к людям, тем чудесным знанием жизни, которые с великою силой и радостью я всегда ощущал в его творчестве» [1].

[1] На французском языке напечатано в «La Revue», 1911, 15 июля, № 14.

В предисловии к этой публикации сообщалось: «Нам показалось интересным, по случаю конференции «Общества друзей Бальзака», запросить автора «На дне», что он думает о Бальзаке как человеке и писателе. Он нам ответил следующим письмом, представляющим драгоценный литературный документ».

ленко.— Новые противоречия действительности.— Снова поиски пути.— Уход из Нижнего 300

6. Путь Горького.— Кружок на станции Филоново.— В Ростове-на-Дону.— Переписка с рабочими.— «Допросы» проповедникам.— У схимника.— Насильственная беседа с Иоанном Кронштадтским 316

7. Путь Горького по Украине.— Село Кандыбино.— Очаков.— Одесса.— Путь на Тифлис.— Майкоп.— Чумный бунт.— Арест Горького.— Приход в Тифлис.— В полицейском участке 330

8. Работа молотобойцем.— Тифлисские друзья.— Комната у Данько.— Хождение по Кавказу.— В Гори.— На Сухумском шоссе.— В Баку.— «Коммуна» по Ново-Арсенальной улице.— «Чтение, споры, раздоры».— Жизнь у А. М. Калюжного.— «Макар Чудра» 346

9. Трагедия Тяпушкина.— Обнищание деревни.— Массовое движение разоренного крестьянства.— Голод 1891 года.— Классовая политика дворянства, купечества и кулачества в голодный год.— «Голод и грабеж, одинаково в ужасных размерах».— Книга Короленко «В голодный год».— «Глухой ропот» и «пламенная ненависть» 364

10. Движение эксплуатируемых масс.— Сопротивления властям.— «Бунт» на коленях.— «Законного исхода нет».— Движение пролетариата.— Стачки рабочих конца 80-х — начала 90-х годов.— Путь на подъем.— Горький — выразитель восстающих масс.— Литературная работа Горького в Тифлисе и ее фольклорные источники.— «Девушка и Смерть» 377

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. Возвращение в Нижний-Новгород осенью 1892 года.— О. Ю. Каминская.— Ранние автобиографические заметки.— Горький, Короленко и журнал «Русское богатство» 393

2. Рассказы Горького 1893—1894 годов.— «Волжский вестник».— Помощь Короленко.— Рассказ Короленко «Художник Алымов».— «Русские ведомости». Салтыков-Щедрин в 80-е годы.— «О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины» 408

3. «Разговор по душе».— «Мудрая редька».— Сказка «О комарах».— «Емельян Пиляй» — первый босяцкий рассказ Горького . . . 417

4. Газета «Волгарь».— «Нищенка».— «О мальчике и девочке, которые не замерзли».— «Пробуждение».— «Горемыка Павел».— Автобиографический очерк «Вечер у Шамова».— Аллегория «Об одном поэте».— «Дед Архип и Ленька».— Трудное время 428

5. Короленко и Горький.— «Челкаш».— Горький и Михайловский 440

6. Либеральное народничество.— Спор Салтыкова-Щедрина с Елисеевым.— Отношение Михайловского к творчеству Горького 447

7. «У моря».— «Старуха Изергиль».— «Два босяка».— «Мой спутник».— «Ошибка».— Короленко и Михайловский об «Ошибке» . . . 456

8. Легенды в литературе 80—90-х годов.— Легенда «Немой».— Легенды о Ларре и о Данко 466

9. «Самарская газета». Переезд Горького в Самару в 1895 году. Работа в «Самарской газете» в отделе «Очерки и наброски».— «Песня о соколе» 472

10. «На плотах».— Фельетоны Паскарелло.— Горький — редактор «Самарской газеты».— Иегудиил Хламида 481

11. Цензура и Горький 488

12. Дробыш-Дробышевский — редактор «Самарской газеты». Нелады с Дробышевским.— Журнал «Новое слово».— «Тоска» 493

13. «Поль Верлен и декаденты».— Уход из «Самарской газеты» . 502

14. Всероссийская выставка в Нижнем.— Газета «Нижегородский листок».— Приезд Горького в Нижний и сотрудничество в «Нижегородском листке» и «Одесских новостях».— Горький о Всероссийской промышленной и художественной выставке 507

15. Горький об искусстве 522

16. Горький об интеллигенции.— Неуспех выставки.— Фельетон «Разгром».— Конец работы в периферийной прессе 535

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1. Предки Горького 549
2. Метрическая запись 554
3. Астраханская арка 555
4. Разорение Каширины х 556
5. Школа 558
6. О родственниках 562
7. Модный магазин обуви 568
8. Еще о родственниках 570
9. Грушники 572
10. Горький и Бальзак 574
11. Иконописная мастерская 576
12. Ярмарочный театр 581
13. В Казани 585
14. Погром в Нижнем 586
15. Доримедонт Покровский 594
16. Были и небылицы 596
17. Библиотека Деренкова 601
18. История булочника Семенова 603
19. Спор о казанских делах и людях 605
20. 12 декабря 1887 года 608
21. Стихиры на отлучение 613
22. Пропагандист 614

23. Скитания Ромася 618
24. Неустановленный автор 626
25. Как Горький стал станционным сторожем 627
26. Письмо сослуживца 631
27. Чтения на Добринке 632
28. Люди «Крутой» 633
29. Несостоявшаяся встреча 635
30. В доме Лик 639
31. Соловьева 641
32. Литературные начала 644
33. Гусев 652
34. Скворцов 656
35. Село Кандыбино 658
36. Спутник 662
37. На горе Вэре 665
38. Читадзе 672
39. Поиски человека 675
40. Письмо Гурию Плетневу 676
41. Ростовские воспоминания 678
42. Дело Федора Афанасьева 680
43. «Куриоза ради» 691

Илья Александрович Груздев
ГОРЬКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ

★

Редактор С. Краснова. Художественный редактор Г. Андронова.
Технический редактор М. Позднякова. Корректор Т. Козменко.

★

Сдано в набор 26/I 1961 г. Подписано к печати 5/IV 1961 г. А02071.
Бумага 84×108¹/₃₂ — 21,88 печ. л.=35,88 усл.-печ. л. 36,43 уч.-изд. л.
Тираж 16 000. Заказ № 1413. Цена 1 р. 61 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

★

Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова
Московского городского совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ОПЕЧАТКИ

страница	строка	напечатано	следует читать
49	9 св.	редко	резко
182	14 сн.	политическии	политически
239	18 сн.	возможности	возможностью
307	17 св.	отмечает	отметает
416	16 сн.	цензурния	цензурная
438	3 сн.	рассказчик	рассказик

И. Груздев „Горький и его время"